

Драчуны

Автор:

Михаил Алексеев

Драчуны

Михаил Алексеев

«... Помутившись разумом, слепые в ярости, мы, на потеху обступившим, взявшим нас в кольцо зрителям, коими оказались учащиеся старших классов, начали дубасить друг дружку со всем возможным усердием и, наверное, напоминали молодых кочетов в момент их бескомпромиссной схватки. Появившаяся на лицах кровь усугубила дело, поприбавила лютости. Мы готовы уж были к рукам подключить и наши крепкие зубы. А тут еще кто-то большой и, конечно же, очень глупый, крутясь возле дерущихся, подзадоривал, подогревал:

– Дай ему, Ванька, как следует!.. И ты, Мишка, не сдавайся! Чего красные сопли развесил?.. Под дых ему, под дых!.. Та-а-ак! Молодцы!.. А ну еще разик!.. Так... так... так! ...»

Михаил Алексеев

Драчуны

роман

Внучке моей Ксении посвящаю

Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в

жизни.

Л. Н. Толстой

Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства; без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь.

Ф. М. Достоевский

Часть первая

1

У Ивана Павловича Наумова было правило, коего он неукоснительно придерживался на протяжении всех лет своей педагогической практики: чтобы проверить учеников на сообразительность, обычно в начале последнего часа занятий он подходил к доске, записывал на ней арифметическую задачу и, повернувшись к классу, объявлял:

– Ну, так вот-с... (однажды в этом месте у Ивана Павловича вырвалось слово «господа», но учитель быстро поймал его и проглотил). – Ну, так вот-с... Кто решит пример первым, тот первым же и отправится домой. – При этом длинные, прямые, редкие и жесткие, седые усы его хитренько подергивались. Должно быть, за них да еще за крутой лоб и круглые зеленоватые глаза Иван Павлович и был прозван в какие-то донашенские еще времена Котом.

Кот, как ему и полагалось, уходил в дальний угол и, затаившись, зорко наблюдал оттуда за классом, подстерегая жертву – то есть ученика, который быстро справится с заданием и, не удержавшись, подскажет результат своему товарищу.

До революции, когда Иван Петрович обучал в трехклассной церковноприходской школе наших отцов и матерей, он поступал в таких случаях очень просто: тихо, опять же по-кошачьи, подходил к подсказчику и, ни слова не говоря, вытягивал его линейкой вдоль спины, а то и опускал это орудие на добрую головушку несчастного рыцаря.

Теперь взамен физического мудрый Кот изобрел воздействие психологическое, пожалуй, более тяжкое для нас, его питомцев. Ученик, который «решил» задачку с помощью соседа по парте, казалось бы, вопреки всякой логике, отпускаясь домой, а тот, который его выручил, тут же получал задачку новую, намного сложнее первой, затем еще одну, потрудней, за этой – еще и еще... много задачек – и так до тех пор, покуда весь класс не опустеет и в нем не останутся лишь двое: учитель и провинившийся ученик.

На этот раз в роли пойманной мыши оказался мой верный дружок Ванька Жуков, невыдуманный тезка известного чеховского героя. Задача в общем-то была пустяковой даже для нас, недавно приобщившихся к учению огольцов: пятнадцать разделить на три. Я хоть и был не в самых лучших ладах с арифметикой, но в обычной, спокойной обстановке без особенных усилий одолел бы такой пример. Но тут представилась возможность отличиться и, главное, раньше срока отправиться домой – не домой, конечно, а в другие места, где тебя ожидало множество занятий куда более веселых, чем школьные уроки.

Но вот беда: когда желанная цель близка, и когда ты всей нетерпеливой душой своей устремился к ней, на тебя вдруг страшною тяжестью наваливается какое-то оупение, голова наотрез отказывается соображать, и ты, мгновенно окатившись потом, в ужасе летишь в некую пропасть.

В такой-то роковой для меня миг я и услышал горячий Ванькин шепот:

– Пять... пять!..

К восьми годам дружок мой еще не до конца избавился от шепелявости, и у него получалось не «пять», а «пячь».

И вот тут-то рука, бросившая мне спасательный круг, была поймана, что называется, с поличным. Решивший раньше всех пример Ванька был остановлен учителем на полпути к дверям. Из солидарности с товарищем задержался было

и я. Однако Иван Павлович строго пресек благородные мои намерения, сказав:

- Ты, братец, иди. А Жуков останется.

- Но я же...

- Правильно. Ты же решил, ну и ступай. Марш, марш! - Длинные усы Кота ехиднейше шевельнулись. - А Жуков посидит еще. Куда ему спешить!

Удар был тщательно выверен загодя. Ученый Кот угодил в самое больное место: «спешить» и мне, и Ваньке было куда.

Сэкономленное на последнем уроке время и то, что оставалось до вечера, мы провели бы наилучшим образом. Нам ничего не стоило в один миг переплыть на долбленке узенькое местечко на Грачевой речке и очутиться в тернах, то есть в терновнике, где ягоды собраны лишь наполовину, а самые спелые, налитые сладчайшим соком предоставлены скворцам, по случаю теплой осени не торопившимся в заморские края. Надклеваные ими тернинки источают густо-красную сукровицу и, пораненные, вкусны уже выше всякой меры. Ими-то мы и собирались полакомиться в первую очередь. А во вторую - побродить по яблоневым садам, оставленным, поскольку урожай уже вывезен, хозяевами без всякого присмотра: пошарить глазами по вершинам деревьев - там наверняка отыщется где одно, где два, а где и десяток либо анисовых, либо антоновских яблок, которые к этой поре необыкновенно вкусны и душисты. Яблоки эти недоступны только для взрослых, но не для нас, деревенских ребятишек. По ловкости и быстроте вскарабкивания на деревья с нами могут сравниться разве что кошки, да и то в момент, когда их настигает собака. На огородах, обычно притулившихся к садам, можно еще захватить врасплох и морковку - она не боится легких осенних заморозков и по этой причине убирается позже других овощей. «Перестоит» ее, может быть, лишь капуста, которой небольшой морозец на пользу. Эту-то садово-огородную азбуку мы с Ванькой Жуковым знали на «отлично».

В плане нашем на тот остаток дня было и другое. На обратном пути мы намеревались заглянуть в церковь, к вечерней службе, но не для того, чтобы помолиться. Просто в такой час представлялась великолепная возможность проникнуть на колокольню, а через нее - в сообщающиеся между собой темницы, то есть чердаки под всеми пятью главами, где водилось несметное

количество голубей, так что при удаче можно было прихватить парочку и унести домой, в собственную голубятню. Правда, от подобной операции у Ваньки могли еще сохраниться не самые добрые воспоминания. Прошлой осенью мы промышляли с ним таким-то вот образом и увлеклись настолько, что забыли про время, а значит, и про то, что вечерня кончилась, массивные церковные двери мой дядя Иван Морозов, служивший тут за сторожа, запер преогромным замчищем и перекрыл для нас путь через паперть. Обнаружив это, мы поначалу испугались, заскучали, но ненадолго: вспомнили, что в железной крыше одной из темниц есть слуховое оконце, через которое легко можно выбраться на крышу и по водосточной трубе спуститься на землю, перемахнуть же через ограду нам и вовсе ничего не стоило. Словом, мы успокоились и решили тогда еще немного поохотиться на молодых голубей, глупеньких, неопытных, а потому и попадавшихся в наши руки прежде всего. У меня было уже два несмышленища, их теплые тела ворочались под рубахой, я даже слышал кожей, как часто-часто бьются их испуганные сердечки. Мне не терпелось поскорее унести добычу на свое подворье и выпустить в сарае, под покровительство старых, умных, добрых, очень гостеприимных голубей. Однако у Ваньки было на одну птицу меньше. Не мог же он отстать от меня. Да я и сам не хотел бы этого, а потому, как мог, стал помогать товарищу, выпугивая пернатых из самых потайных, дальних углов. Сняв с ноги сапог, Ванька принялся «шуровать» им по карнизам. В конце концов сапог вырвался из его руки и провалился куда-то далеко вниз, в расщелину, образовавшуюся между обшивочными досками и бревнами, составлявшими основу всего здания, – туда, значит, откуда его можно выволить не иначе как разобрав всю церковь; мы поняли это сразу, но еще пытались как-то исправить положение, вытащить сапог и отвратить от Ваньки превеликую порку. Сапоги ведь новые, недавно купленные Ванькиным отцом, Григорием Яковлевичем Жуковым, да и то не для Ваньки, а для его старшего брата Федора, у коего Ванька едва выпросил их, чтобы хоть один разик, один-единственный, пройтись по селу и подразнить сверстников, в том числе, конечно, и меня, которому и во сне-то не могло присниться такое сокровище.

Ванька Жуков не плакса, для этого он был слишком горд, но тогда я увидел в полумраке церковного чердака, как глаза его сперва покраснели, а потом из них обильно потекли слезы, оставляя за собой на пыльных щеках две извилистые светлые дорожки. Позднее он признался мне, что не боялся отцовской выволочки (к ней он давно привык), больше всего его удручала встреча с Федькой – тот, конечно же, будет крайне огорчен, узнавши про этакую беду.

Пошарив еще немного по карнизу, порядком оцарапавшись торчавшими там и сям ржавыми гвоздями, мы выбрались на крышу, спустились, как и намечали, по

водосточной трубе; молча, не глядя друг на друга, перелезли через ограду и ударились всяк своей дорогой, забыв попрощаться и, против обыкновения, не договорившись о завтрашних планах. Странно, но каждый из нас чувствовал себя виноватым перед товарищем. Ванька, похоже, оттого, что явился причиной плохой концовки счастливо начавшегося предприятия, я – оттого, что ничем не мог помочь приятелю.

В скверном расположении духа вернулся я домой, а наутро был очень удивлен, увидев возле школы Ваньку Жукова, затеявшего веселую возню с верзилкой по имени Самонька. Парень этот третий год начинал свое учение в одном и том же классе, поскольку перейти в четвертый ему мешали выстроившиеся в несокрушимо строгий ряд сплошные «неуды». Видя, что Ванькиных силенок явно не хватает, чтобы сладить с Самонькой, я тотчас же подключил свои; вдвоем, хоть и не вдруг, мы все-таки уложили Самоньку на обе лопатки. «Ну, постойте, вам это так не пройдет», – пробормотал третьегодник и, отряхнувшись, подхватив валявшуюся поодаль ученическую свою сумку, нехотя побрел к школьным дверям. Мы не обратили никакого внимания на Самонькины слова. Для нас было важно, что Самонька нами повержен, а лично для меня важнее важного было то, что видел Ваньку прежним, веселым и озорным. Наверное, отцова порка неожиданно оказалась умеренной, а Федькино горе не столь уж безутешным.

Так или иначе, но, не задержи Иван Павлович Ваньку в классе, мы с ним наверняка нынешним вечерком наведались бы в церковь, прошмыгнули бы незаметно мимо глуховатого Ивана Морозова к лестнице, винтообразно взбирающейся к колокольне, и вдоволь поохотились бы за голубями.

Теперь все наши планы безнадежно рушились.

Понурившись, чувствуя себя совершенно уничтоженным, я медленно вышел на школьное крыльцо, еще медленнее спустился по ступенькам во двор; прислонившись к ограде, стал ждать Ваньку. Знал, что он теперь будет отпущен из класса последним, а потому и запасся терпением. Уйти без Ваньки я, разумеется, не мог. Во-первых, потому, что это было бы похоже на предательство. Да и само путешествие в намеченные места без Ваньки лишалось своей привлекательности, а стало быть, и смысла; без Ваньки речка – не речка, лес – не лес, сады – не сады, да и для чего мне все это, когда рядом не будет Ваньки Жукова! Не будет его милой шепелявости, не будет и его разбойничьего свиста в четыре пальца, как-то хитро положенных на язык, – как

ни старался, но я так и не научился этому искусству, составлявшему предмет моей зависти: Ванька свистел столь пронзительно, что по всему лесу сороки срывались со своих мест и подымали переполошный, панический крик. Не будет и выворачивания единственного кармана, пришитого Ванькиной матерью к правой штанине, и выскребывания из уголков малой крохи самодельной махорки, похищенной Ванькой у отца, той самой, за которую приятель мой сечен был чаще всего. Любая плата, однако, ничто в сравнении с ощущением своего превосходства, когда ты на глазах восхищенного тобою товарища совсем взрослому ссыпаешь те табачные крохи на донышко ладони, а затем осторожно и солидно, как делает это отец, наполняешь ими «козью ножку». Закупориваешь ее, чиркаешь спичку и, чуть-чуть припалив ресницы (у Ваньки они длинные и светлые, как у теленка), начинаешь раскуривать и, демонстрируя высший пилотаж, выпускать через ноздри струйки дыма. Ванька дает и мне «курнуть разик», всего только один раз, не больше, но, видя, как я кашляю и задыхаюсь, говорит снисходительно:

«Тебе, знать, рано таким делом заниматься». Честно говоря, мне казалось, что и ему не приспело еще время заниматься этим самым делом, потому что видел, как Ванька изо всех сил пытается удержать рвущийся из груди кашель, как краснеют его белые галочки глаза и как ему мучительно хочется скрыть все это от меня. Справившись с удушьем, пряча обильно выступившие слезы, он еще и успокаивает: «Ничего, Миш, научишься и ты».

Забегая вперед, скажу: не научился. Ни тогда, в конце двадцатых, ни в сиротские свои тридцатые, ни в сороковые, военные годы, хотя учителей по этой части было более чем достаточно. Один фронт мог сделать тебя заядлым курильщиком: иной без колебания отдавал свою пайку хлеба за крохотный «чинарик», за искуренную больше чем наполовину сигарку; ради одной затяжки мог расстаться с такой драгоценностью, каковой являлись знаменитые фронтовые сто грамм. Но и окопы не сделали меня трубкакурором. Положенную мне махорку, а позднее и папиросы, ротный старшина отдавал другим бойцам и командирам.

Мне многое хотелось перенять, и я перенимал от Ваньки. Даже, как он, чистил зубы тем, что жевал смолу, или вар, как звали эту вязкую, упругую аспидно-черную массу в нашем селе Монастырском на Саратовщине. Зубы от нее делались кипенно-белыми, как у молодого волчонка, а десны такими крепкими, что не кровоточили и тогда, когда мы разгрызали железной крепости ржаные сухари и перемалывали на зубах, точно на жернове, колючие плиты колоба[1 -

Так в наших краях именуется жмых.].

Я уже признался здесь, что более всего мне хотелось научиться у Ваньки лихому свисту. Всякую прогулку с ним в лес ли, в сады, в поля, на луга, Большие и Малые, на гумна, тоже Большие и Малые, я старался использовать, чтобы по дороге взять у товарища урок свиста. Но либо педагогические способности Ваньки были невелики, либо я оказался непонятливым учеником – не знаю, отчего, но пока что успехами своими похвалиться я не мог. Из-под моих пальцев, засунутых в рот и зажимавших там язык, вместо свиста вырывалось какое-то жалкое, отвратительное шипение. В отчаянии я мог бы, кажется, и зареветь, но Ванька и тут приходил на выручку, утешая по обыкновению: «Ничего, Миш, научишься и ты. Это Федька, братка мой, меня научил. Знаешь, как он свистит!»

Ванька, как и все мои односельчане, у многих глагольных слов в разговорной речи уворовывал букву «е», и у всех у нас получалось: «работат» вместо «работает», «гулят» вместо «гуляет», «знат» вместо «знает», ну и тому подобное.

Село наше некогда основали монахи одного из владимирских монастырей, присланные в эти глухие тогда болотные и лесные саратовские края, чтобы сеять тут коноплю, лен, собирать пчелиный мед, а по осени отправлять добычу под охраной вооруженных мужиков за тысячу верст в свой монастырь. С ними-то и докатилось к нам круглое «о», на которое больше всего опирается, как на посох, житель села, нареченного Монастырским.

Иван Павлович Наумов и его жена Мария Ивановна были родом из волостного села Баланды, остановившегося где-то на полпути к городскому чину, разговаривали не по-нашему, из гласных звуков ими подчеркивался «а», и монастырское оканье было и непривычным, и малоусладительным для их уха. Этим только и можно объяснить, почему Мария Ивановна, умная, в высшей степени сдержанная, однажды, когда я учился, кажется, уже в четвертом классе, малость «сорвалась», не вытерпела, сделала мне замечание. «Алексеев, – сказала она, чуть морщась, – не говори „корова“. Неужели ты не слышишь, как это ужасно звучит?!» Первыми среагировали на ее замечание мои уши. Они мгновенно воспламенились, и, если бы это было ночью, класс, наверно, увидел бы над моей партой два красных фонарика. И все-таки я не растерялся – звонко, чтобы слышали все, почти прокричал:

«Марья Ивановна, но будет еще ужаснее, ежели я в диктанте напишу: „карова“.

Теперь наступила очередь покрыться румянцем смущения и ее умному лицу. «Несносный», – чуть внятно сказала она и улыбнулась. Ее улыбка, тихая и светлая, всегда означавшая для нас отпущение всех наших грехов, озарила весь класс, и класс разрядился дружным, сочным, радостным смехом. «Ну, ладно. Порезвились и довольно. Вернемся к уроку.»

Хуже было с Ванькой. Как и в письменной, так и в устной своей речи он совал это «о» куда нужно и куда не нужно и, естественно, выше тройки по русскому языку никогда не подымался. Я пробовал помочь ему, но безуспешно. Учитель из меня получался такой же, как и из Ваньки, если не хуже. Он хоть кое-что, но все же сумел передать мне. Втайне я завидовал многому из того, чем располагал Ванька Жуков. Мне, например, очень не хватало Ванькиной отваги, а в условиях деревенского житья-бытья ее надобно иметь в достатке. Робких ребятишек на селе не любят и если чем и жалуют, то разве что частыми оплеухами. А с Ванькой Жуковым шутки плохи: на одну затрещину он немедленно ответит тремя, более ядреными и звонкими. При этом Ваньку не остановит и то, что его обидчик старше годами и, следовательно, покрепче и физически. В таких случаях недостаток собственных силенок Ванька вполне компенсирует смелостью и ловкостью. Нельзя сказать, чтобы из всех схваток он выходил победителем. Влетало порядком и ему, отважной головушке. Редко когда Ванькина физиономия не носила на себе свежих следов недавних горячих баталий. То, смотришь, под глазами Ванькиными синем-сине, то губа у него рассечена, то бровь, то ухо – где-нибудь, но чуть ли не постоянно бугреет сгусток запекшейся крови, как у драчливого петуха на гребешке. Допытываться у Ваньки, кто его поколотил, бессмысленно: он никогда не скажет. Либо соврет, не моргнув глазом: врезался, мол, ночью в дверную скобу или во что-нибудь еще.

Теперь я ждал, когда мой отважный товарищ появится на крыльце. По времени должен был уж появиться: прошло около полутора часов. После меня давно покинули класс и все остальные ученики. Девчонки сразу же разбегались по домам. Ребята вели себя совершенно по-иному. Они вылетали из школы пулей, точно их и вправду выстреливали оттуда. Шалые от радости, будто козлята, спущенные с привязи на волю, они с диким воплем и козлячьим мемеканием вприпрыжку проносились мимо меня и тут же, за оградой, не желая, видимо, так скоро расставаться, начинали разные игры. Одни, схватившись за руки или плотно обнявшись, мерились силой; другие, построившись в цепочку, наклонившись, ждали, когда через них будут перескакивать их товарищи, – тут затевалась чехарда; там и сям, сопровождаемые визгом и хохотом, стремительно росли кучи малы; немного поодаль быстро вычерчивали палкой

линии – готовили арену для сражения в козны. Этим, последним, я завидовал в особенности и при других обстоятельствах не оказался бы в стороне, потому что одноклассники затевали самую любимую мою игру. Понуро глянув в их сторону, я успел подумать о том, что дома, в печных отдушниках, тайно от брата Леньки, у меня хранился немалый запас кознов – и больших, коровьих, и поменьше, свиных, и совсем крохотных, овечьих, тех, что назывались нами попросту лапшой. При желании я мог бы обратить их в деньги, поскольку козны имели свою цену. На одну копейку ты мог купить пять больших, бычьих; значит, на ту же копейку тебе дадут два десятка свиных или тридцать штук овечьих. Мой средний брат Ленька (я в семье был младшим) по искусству этой игры не имел себе равных, сокрушал всех подряд, кто бы ни отважился скрестить с ним оружие, то есть налитые свинцом панки, которыми разбивается кон. Целясь в него, Ленька прищуривал левый глаз и обязательно высовывал на левую же сторону кончик языка. Считалось, что это помогает ему поражать ставку с любой отметки. Немудрено, что Ленькина ученическая сумка всегда больше чем наполовину была наполнена кознами и что при случае Ленька приторговывал ими. Свой тайный запас я мог сделать только из выигрышей брата, но не из своих, потому как страсть к этой игре у меня находилась в вопиющем противоречии с умением. Тем не менее я сейчас непременно был бы среди тех, кто начинал игру. Но без Ваньки?..

«Скоро, что ли, этот презлющий Кот отпустит его?» – мои глаза вновь обратились на школьную дверь. Время от времени она открывалась и выпускала на улицу учеников старших классов. С очередной партией появился и Ванька. Я не сразу увидел его, потому что Ваньку закрывали от меня взрослые ребята. Но вот раскрасневшееся его лицо показалось впереди. Я сорвался со своего наблюдательного пункта и рванулся с кличем «ура» навстречу. И был ошеломлен, когда Ванька с ходу ударил меня головой в подбородок, да так сильно, что из глаз моих посыпались искры.

– Ты... ты за что меня, Ванька? – возопил я, задыхаясь и от страшной боли, и от жгучей обиды. – За что-о-о?! Эх, ты-и-и!..

– А ты... ты за что?! – в свою очередь, закричал Ванька, вцепившись в мой воротник. Сморгивая с длинных ресниц слезы (они выступали у него скорее от злости, чем от боли или обиды), Ванька вдруг размахнулся и ударил меня в лицо. Мне ничего не оставалось, как ответить ему тем же.

Помутившись разумом, слепые в ярости, мы, на потеху обступившим, взявшим нас в кольцо зрителям, коими оказались учащиеся старших классов, начали дубасить друг дружку со всем возможным усердием и, наверное, напоминали молодых кочетов в момент их бескомпромиссной схватки. Появившаяся на лицах кровь усугубила дело, поприбавила лютости. Мы готовы уж были к рукам подключить и наши крепкие зубы. А тут еще кто-то большой и, конечно же, очень глупый, крутясь возле дерущихся, подзадоривал, подогревал:

– Дай ему, Ванька, как следует!.. И ты, Мишка, не сдавайся! Чего красные сопли развесил?.. Под дых ему, под дых!.. Та-а-ак! Молодцы!.. А ну еще разик!.. Так... так... так!

То был Самонька, вынырнувший из-за спин других ребят, где, пригнувшись, таился до этой минуты. Откуда нам было знать, что это он, выйдя из школы и увидев впереди себя Жукова, незаметно, очень умело подтолкнул Ваньку так, что тот угодил головой прямо в мой подбородок в момент, когда я кинулся к товарищу. Подтолкнул и сейчас же скрылся, точно рассчитав свой ход: теперь и я, и Ванька были в полной уверенности, что один из нас и затеял эту драку – вот только непонятно, почему. Но могли ли мы, ребяташки, распаленные боем, выяснять что-то, доискиваться истины, когда война между нами уже началась, и когда каждый из нас если и думал о чем-либо, так только о том, как бы не оказаться побежденным?..

Как и следовало ожидать, старшеклассники недолго оставались в роли зрителей. По разным причинам для кого-то из них был ближе Ванька Жуков, а для кого-то – я. Тут вступил в действие и древний, как сама Русь, неписанный закон, сформулированный, однако, лаконично, кратко и тревожно-возбуждающе: наших бьют! Подчиняясь ему, как сигналу бедствия, мальчишки с Непочетовки, Завидовки и других близлежащих улиц и проулков взяли мою сторону, а те, что жили на другом конце села, именуемом Хутором, и в примыкавших к нему окраинных домах, вступились за Ваньку. Оставили свои веселые игры и наши одноклассники. Позабыв о сумках с учебниками и тетрадями, валявшихся где попало прямо на земле, они с воинственным кличем ворвались на поле брани и сейчас же пустили в дело свои кулаки, не разбирая поначалу, кто тут их друг, а кто враг. Теперь «красные сопли» можно было увидеть не только под моим и Ванькиным, но и под многими другими носами.

Выскочившему из школы Ивану Павловичу, а также поспешившим ему на помощь мужикам из соседних дворов и из сельского Совета не сразу удалось усмирить

это воинство. Лишь после того, как к ним присоединились покинувшие церковь отец Василий и Иван Морозов – к этому часу они готовили Божий храм к вечерне, – только после этого костер был погашен. Но головешки от того костра с их едким, щиплющим глаза дымком и резким, раздражающим запахом каким-то образом переселились в мое сердце, отчего жизнь, вчера еще полная очарования и ослепительного смысла, сразу же потускнела для меня, слиняли ее краски, побледнели, и все вдруг как бы задернулось серой, нерадостной пеленой, через которую не мог пробиться ни один солнечный лучик и осветить, согреть осиротевшую, напуганную душу ребенка.

Ну а Самонька?

Увлеченный зрелищем ребячьей потасовки, он уже и забыл, что явился источником, из которого она выплеснулась и затем воспламенилась. Когда взрослым, действующим и словом, и другим, более убедительным для сельской детворы средством, удалось в конце концов утихомирить ее, Самонька тотчас заскучал и с явным сожалением побрел домой. Он был бы, пожалуй, не против, ежели б на завтра случилось нечто подобное. И не потому, что сам был злым, отпетым парнем. По своему характеру Самонька скорее принадлежал к существам простодушным и даже добрым. Дело, однако, в том, что с учением у него не ладилось и школа могла представлять для Самоньки интерес постольку, поскольку там можно поразвлечься.

2

Мужики рассказывали потом, что труднее всего им было разнять, отцепить друг от друга нас с Ванькой. Меня лично привела в чувство и мгновенно отрезвила редкая по ядрености, звончайшая оплеуха, отпущенная от всех щедрот (знать, по-родственному) дядей Иваном, который затем ухватил железными лапищами племянника за уши и отдернул от Ваньки. Последнего сгреб в охапку здоровенный и упитанный отец Василий и унес зачем-то (не на исповедь же?) прямо в церковь, куда уже направлялись самые набожные прихожане.

Остальными бойцами занимался Иван Павлович, построив их перед собой, как строит новобранцев ротный старшина перед казармой.

Вышла из школы и стала рядом с мужем Мария Ивановна; вдвоем они вели все четыре класса до тех пор, пока на селе не поставили новую школу и не открыли в ней семилетку, а потому и отвечали здесь за все и перед районо, и перед сельсоветом. На Марии Ивановне лежала обязанность не только учить, но и производить набор первоклассников. Именно к ней припожаловал прошлой осенью и я. «Где родился?» – первым делом спросила она, склонившись над списком новых учеников. Так как я был наслышан от домашних, где мне суждено было явиться на свет божий, то тут же и ответил: «У бабушки на печке». Оказавшийся рядом Иван Павлович коротко хмыкнул. Я решил, что он мне не поверил, и пустился в подробности, но Мария Ивановна остановила меня, сказав: «Ну, ладно. Первого сентября приходи в школу». Губы ее чуть поморщились в грустновато-светлой, по обыкновению, улыбке.

Иван Павлович ощупывал каждого своими колючими глазами и произносил какую-то гневную речь, но не остывшие до конца, не пришедшие в себя ребятишки не улавливали ее смысла, может быть, и вовсе не слышали этой речи, и о том, что она была очень сердитой, могли догадываться по обжигающе острому блеску зеленоватых глаз и подергивающимся кошачьим усам учителя. Мария Ивановна молчала, скрестив руки на груди и глядя на провинившихся удивленно-печальными, укоряющими очами, – с ними-то как раз больше всего и боялись встретиться притихшие вдруг, потерянные, оробевшие и в общем-то несчастные драчуны. На чужом пиру им досталось одно похмелье. Решительно всем. И второму после Ваньки Жукова, а теперь, наверное, первому, моему другу из Непочетовки Кольке Полякову, стоявшему на правом фланге с рассеченной нижней губой и страдающему скорее всего не от полученных в бою ран, а от мысли, что за изодранную, единственную на двух братьев сатиновую рубаху придется держать ответ перед строгой матерью и перед отцом, хоть и добрым, но, кажется, самым бедным на селе мужиком, положившим основание Непочетовке своей убогой лачугой; и Миньке Архипову с той же улицы, единственному сыну у молодых родителей, больше всего опасавшихся, чтобы их слабое, изнеженное дитя не ввязалось бы в какую ни то ребячью свару; и Петьке Денисову-Утопленнику (прошлым летом, вытащив из пруда, его едва откачали и вернули к жизни) с одноименной Денисовой улицы, потому как на ней проживало с полдюжины семейств, объединенных одной фамилией; и Гриньке Музыкину, безотцовщине, забубенной головушке, грозе чужих огородов, садов, а в зимнюю пору и погребов, неутомимому говоруну («Уж больно ты речист – видно, на руку нечист», – пословица, нацеленная прямехонько в таких добрых молодцев, как Гринька), завидовскому забияке, с которым не мог справиться даже Ванька Жуков, – он и сейчас не отводил в сторону и не опускал долу своих отчаянных, по-рачьи выпуклых, нагловатых глаз, а бесстрашно и вызывающе

скрещивал их с глазами Ивана Павловича, чаще всего оставлявшего Гриньку Музыкина без обеда; и моему тезке Михаилу Тверскову, к которому со следующего дня я перейду за парту и буду сидеть какое-то время рядом с ним и учиться до пятого класса, вплоть до незабываемого тридцать третьего года, который отнимет у меня и Михаила Тверскова, и множество других бесконечно дорогих мне людей; стоял перед учителями со всегдашней своей загадочной ухмылкой и мой двоюродный племянник, одним лишь годом младше меня, Колька Маслов, чуть ли не единственный, на лице коего только что закончившееся сражение не оставило никаких следов-отметин, – объяснить это почти невероятное явление можно лишь исключительной хитростью этого темноглазого сорванца.

Хуже всех, надо полагать, чувствовал себя Янька Рубцов, самый робкий из моих друзей в Непочетовке, оказавшийся в свалке отнюдь не по своей воле: его кто-то из старших неласковым пинком под зад втолкнул в круговерть мальчишескую, где, судя по разбитой «сопатке», Яньке попало, кажется, больше всех. Сейчас он находился прямо против Марии Ивановны и ждал только от нее одной для себя защиты.

– А Рубцов как сюда попал? – ахнула Мария Ивановна, заметив наконец Яньку и сразу же определив, что он без вины виноватый. Милостиво попросила мужа: – Отпустите его, Иван Павлович. И Архипова Мишу – тоже. – Старая учительница была совершенно уверена, что этот-то недотрога, мамкин сынок, наверняка вовлечен в потасовку другими.

– Марш домой, Рубцов! И ты, Архипов, – ну! – скомандовал Кот. – И наперед смотрите!..

Я дружил с Янькой, прощая многие его слабости (у кого их нет!), одна из которых казалась мне особенно неприятной и менее извинительной, – это Янькина скупость, не ведающая границ. Однажды она проявилась у него, пожалуй, в самой крайней степени.

После половодья, когда наша речка Баланда возвращается в прежние, привычные для нее берега и скликает в свое лоно разбежавшиеся во все стороны, по лесам и лугам, вешние воды, когда вместе с ними по бесчисленным рукавам, овражкам, рытвинам, проделанным ими же в прежние весны, по колеям, углубленным шустрыми ручьями, по старице устремляются в обратный путь нагулявшиеся вволю и отнерестившиеся щуки, красноперки, жерехи, язи и

всякая другая рыба мелочь, вроде ершей и уклеек, жители села Монастырского, мужская его половина, от мала до велика, выходят на промысел. В дело пускаются снасти самые разнообразные, изготовленные загодя, в долгие зимние вечера. Тут и вентери, и вершки, и наметки, и всевозможных форм и размеров сачки, и другие премудрые штучки, рассчитанные на то, чтобы изловить заблудшую рыбешку. Тяжелыми наметками здоровенные мужики и парни орудуют прямо с берега: в мутной воде, окрашенной в глинистый цвет весенними потоками, низвергающимися с оврагов, рыба слепая, она ничего не видит, и ее накрывают, наматывают такой снастью и волохом тащат на берег. С вершами же, вентерями и сачками уходят на луга, в лес – к шумно сбегаящим в материнское ложе Баланды ручьям, где и преграждают путь рыбе. При этом торопятся и все и вся. Ручей спешит потому, что боится быть перехваченным каким-нибудь невидимым сейчас холмиком или перемычкой. Рыба может остаться на свою погибель в любом сезонном лесном болотце, с которым в две недели расправится солнце, выпьет его до самого донышка – долго ли проживешь, оказавшись на мели в прямом и переносном смысле! Ну а человеку и подавно не следует мешкать: весенний разлив недолог, а рыба выходит на свою прогулку или на пастбище на очень малый срок, равный одной неделе, не более того. Тут уж, рыбачок, не зевай. Замешкавшийся, ты можешь вернуться от иссякающего рукава или ручья ни с чем, несолоно, значит, хлебавши.

Не знаю почему – то ли мы опоздали, то ли пришли раньше времени, но за весь день в наши с Янькою верши не попало ни единой рыбешки. Утащить снаряжение в другое место мы не могли – не хватало силенок. Верши для нас расставили тут наши старшие братья. Мы только дежурили и время от времени подымали за хвост свою снасть, чтобы заглянуть сквозь мокрые, лоснящиеся прутья, не трепещет, не барахтается ли там серебристая рыбина. Рыбины не было. Под вечер, когда терпение могло кончиться не только у ребятешек, но и у взрослых, я заскучал и, позевывая, внутренне усмехнулся.

– Янь! – окликнул своего соседа, впавшего от неудачи в апатию.

– Што-с? – сонным, ленивым голосом отвечивал тот.

– А што ежели счас в твою вершу попадет сто щук, ты отдашь мне половину?

Янька мгновенно оживился, сонную одурь как рукой смахнуло с его круглого, похожего на полную луну лица. Воззрившись на меня в удивлении, он горячо, с досадою вымолвил:

– Ишь ты какой умный! Нашел дурачка! Эт почему же я отдам их тебе?..

На другой ответ я и не рассчитывал, а потому и расхохотался. Отсмеявшись, выпалил как можно громче:

– Дурак ты, Янька, скупердяй, жмот несчастный! Да ни хренинушки ты не пымашь! Ну, лады. Прячь подальше своих щук, не то Гринька Музыкин стащит. Бывай! – с этими словами я поднялся, засунул в карман порожнюю, приготовленную для улова сумку, скверно свистнул и нырнул под голые еще ветки пакленика, оставив напарника, так, видно, и не понявшего, отчего это я рассмеялся.

Но сейчас мне было не до смеха. Усмиренный дяди Ваниной оплеухой, я был поставлен в строй рядом с другими учениками, в полном безразличии выслушал проповедь Ивана Павловича, зацепившись ухом лишь за ее концовку, где учитель наказывал, чтобы мы сообщили своим родителям: их завтрашним вечером вызывают в школу. Это означало, что впереди нас ждала трепка более внушительная, чем та, которую мы только что учинили друг другу. Разбитые наши носы дружно, согласно шмыгнули. Кто-то непроизвольно, судорожно, с прерывистым всхлипом вздохнул. Словом, заключительная часть преподавательской речи пришлась решительно не по вкусу всем. Видя это, Кот передернул усами, пряча под ними нехорошую ухмылку. Мы же – опять все разом – впервые за эти тягостные минуты подняли свои глаза на Марию Ивановну – инстинктивно, точно так же, как Рубцов Янька, ища у нее ежели и не защиты, то хотя бы сочувствия. Что-то материнское, жалеющее и именно сочувствующее и мерцало в ее добрых и, как всегда, грустноватых глазах, но это было все, что могла нам предложить старая, боящаяся своего жестковатого мужа учительница. Мне показалось, что в реденьких ее ресницах, не прикрывавших красноватых век, запуталась одна слезинка.

Между тем Иван Павлович выговорился до конца и повелительным, отстраняющим жестом дал понять, что мы свободны. Никому, однако, не хотелось идти домой. Ученики не без основания опасались, что родители уже прознали о грандиозной драке возле школы (худая весть быстронога) и о том, что в ней принял активное участие их сын, и теперь где-нибудь под рукой у отца находился ремень или чересседельник, которыми чаще всего и потчевали нашкодившего. Мы понимали, что ремня не избежать, но хотели бы повременить с этим делом. Пускай уж тебя высекут поздним вечером, на сон грядущий:

меньше будет свидетелей.

Взяв это в соображение, я нешибко вышел к озеру, ополоснул хорошенько лицо, отчего царапины, кровоподтеки, синяки и шишки выступили на нем еще отчетливей, и я полагал, что теперь должен выглядеть вполне сносно.

Озеро, в котором я умылся, называлось Кочками – потому, наверное, что с весны до осени берега его были изрыты коровьими и лошадиными копытами, и выворачиваемая грязь, высыхая, превращалась в несокрушимо твердые, остроконечные кочки, о которые больно укалывались даже наши задубелые, закаленные на стерне и на степных колючках босые ноги. Летом мы купали в Кочках лошадей и купались сами.

Было шумно и весело, хотя в теплой, стоячей, непроницаемо-мутной воде кишмя кишели не только караси и головастики, но и пиявки, норовившие присосаться к голому заду и напиться крови. Больших, жирных пиявок (их почему-то у нас называли «лошадиными») мы не боялись: эти насосутся и сами отвалятся. Куда вреднее и противнее были тонкие, красноватые, в узкую полоску, ленточные, – они забирались под кожу и снаружи оставляли чуть видимый кончик хвоста, а за него ухватиться не могли и наши цепкие пальцы.

Сейчас Кочки были пустынно. Вода в них охолодала, обрела свинцово-тяжелый, нерадостный цвет. По ней кое-где еще плавали редкие семейства домашних уток и гусей: рачительные, экономные хозяева не торопились загонять на свои дворы эту крякающую и гогочущую пернатую живность, берегли корм, которого было всегда в обрез. Прилетали сюда и гнездились, выводили потомство и дикие утки, чирки и даже крячки, но они выплывали на открытое зеркало озера лишь ночью, а днем прятались в камышах, вымахавших на одной стороне Кочек в саженный рост и нахально шагнувших прямо по воде чуть ли не на его середину. Кочки – это, в сущности, большое болото, сохранившееся от тех времен, когда тут темнел густой лес и не ступала нога человеческая и когда сюда прилетали несметные полчища водоплавающей птицы, в том числе и лебедей, которых теперь можно было увидеть на самый малый срок разве что по весне, во время разлива реки Медведицы и впадающей в нее нашей Баланды. Нынешние крячки являлись прямыми потомками уток, обитавших здесь в счастливые для них времена. Древний инстинкт, унаследованный от крылатых аборигенов, подавлял страх перед людьми и властно гнал путешественниц за тысячи верст к родимому болоту, оказавшемуся почти в самом центре человеческого поселения. Прилетев, утки жили рядом с нами до глубокой осени, до той последней минуты, когда все

сужающаяся и сужающаяся круговина воды, переливающаяся мелкой рябью под порывами ветра, не остановится, не замрет, побледнев в смертельном страхе, в тугих и коварных объятиях подкравшегося в ночи мороза.

Умывшись, я присел на берегу озера, еще раз бездумно огляделся во все стороны. Потом – также без всякой мысли – стал бросать в воду комочки земли. Но тут же вспомнил, что, будь рядом со мной Ванька, мы затеяли бы соревнование: кто сделает больше «блинчиков» пущенным по водной глади плоским камнем. Иногда в этой игре мне удавалось побеждать Ваньку. Низко склонившись вправо, отведя руку далеко в сторону, я бросал снаряд так ловко и с такую силой, что он скакал по воде как сумасшедший, оставляя за собой, словно паук-водомер, множество уменьшающихся по мере удаления и укорачивающихся в скоке «блинчиков», то есть следов от своего легкого, поверхностного касания. При удачливом броске таких следов-блинчиков получалось на воде до тридцати и более. А это означало, что ежели твой противник «испечет» хотя бы на один «блин» меньше, то получит в свой лоб тридцать, а то и сверх того щелчков. Проиграв, гордый Ванька не просил снисхождения, а требовал, чтобы я бил по совести, не притворялся. Очень сердился, когда чувствовал, что щелчки мои недостаточно ядрены. Выиграв, Ванька не щадил и меня, но советовал, опираясь на богатый собственный опыт: «Лоб надо наморщить. Не так больно будет». И, видя, что я внял его рекомендации, приступал к экзекуции с сознанием честно и до конца исполненного товарищеского долга.

Что и говорить, занятие было не из рядовых. Мне и сейчас захотелось сотворить десяток-другой «блинчиков». Отыскал поблизости нужное количество подходящих камней, предварительно взвесил их на ладони и, отобрав один, совершил бросок. Он оказался неудачным: камень не помчался по озеру вприпрыжку, а тяжело, неуклюже плюхнулся в воду и утонул. Но это меня не очень огорчило: первый блин, как водится, комом. Пальнул следующий камень. Но и этот не издал знакомого, радующего слух звонко-певучего чоканья (чок-чок-чок), которым обычно сопровождается хорошо подготовленный прежними тренировками и уверенно выполненный бросок. «Это что же со мной?» – удивился я, рассматривая правую руку, виновницу неудач. «А ну, еще разок попробую.» Попробовал – и опять ничего не получилось. Камень подскочил раза два и, всхлипнув, исчез. С досады плюнул и снова – в какой уж раз за эти минуты! – подумал о Ваньке с подступающим к горлу сухим, горьким комом обиды и тупым, давящим грудь озлоблением. Оставшиеся камни отшвырнул от себя ногой, сожалея, что не мог запустить их в Ваньку, – более лютого врага у меня сейчас не было.

«Где он сейчас?» – мелькнуло в голове и отозвалось острой болью в сердце.

«Ну, постой, дружок! Появись только в Непочетовке, мы те зададим!»

В Непочетовке у Ваньки проживал дядя, и Ванька, исполняя поручения отца, часто навевался к нему. Делал он это с удовольствием, потому что на обратном пути забегал ко мне и мог схорониться на нашем подворье, избавиться на час-другой от еще каких-нибудь заданий, менее для него приятных. Тогда-то, думалось мне, мы и подкараулим Ваньку. Теперь в мстительных своих размышлениях я уже подсоединял к себе и товарищей, тех же Кольку Полякова, Мишку Тверскова, Петьку Денисова-Утопленника и даже Яньку Рубцова с Минькой Архиповым. Впрочем, раньше и прежде всего я рассчитывал на Гриньку Музыкина, самого, конечно, отчаянного и надежного бойца в отряде, который уже формировался в моем уме.

Мысль о собственном войске немного ободрила меня, и я собрался домой. Теперь только обнаружил, что со мною нет сумки с учебниками, тетрадями и новеньким пеналом с карандашами – предметом особой моей гордости. Может, вернуться за сумкой? «А ну ее, никуда не денется. Мария Ивановна подымет и уберет!» – проговорил я вслух неестественно беспечным голосом и вышел на выгон за Кочками, где по утрам пастухи собирают стада коров и овец, чтобы увести их на пастбище. За выгоном виднелся ряд изб, пристроившихся на задворках у Непочетовки, и в ряду этом крайней справа была наша изба, куда мы отселились от дедушки Михаила совсем недавно. Как-то встретят меня там? И дома ли папанька? Было бы неплохо с его стороны, если б он догадался уехать на Карюхе к своему другу-мельнику, известному на всю округу выпивохе, и загулять там суток на трое, а еще лучше на всю неделю. Такое с моим отцом случалось, и не редко. Обычно он отправлялся к вечно припудренному мучной пылью приятелю по субботам, а сегодня, припомнил я, как раз суббота.

Появилась слабая надежда избежать наказания. Воодушевляемый ею, я зашагал к своему дому посмелее, не замечая даже, что то и дело попадаю ногами в свежие коровьи лепехи.

Упованиям моим на то, что можно избежать домашнего наказания, не суждено было исполниться. Правда, вернись я хотя бы на полчаса позже, все и обошлось бы по-хорошему. Черти меня принесли (им-то, чертям, чего я сделал плохого!) в момент, когда мой папанька заводил Карюху в оглобли, чтобы запрячь ее и отправиться в свое субботнее путешествие к мельнику. Он явно задержался с этим предприятием. Поджидал, похоже, меня. О том, что произошло возле школы, Николай Михайлович узнал от отца Василия, жившего с нами по соседству, – батюшка уже успел отслужить вечерню, отужинать в окружении многочисленных своих чад (маленькая, как ребенок, тощая попадья не пропустит и года, чтобы не принести мужу еще одного поповича или поповну) и навестить шабра, поделившись с ним последними новостями. Как-никак, но батяня наш секретарствовал в сельсовете, где этих вестей-новостей собирается со всех, что называется, волостей.

Завидя мою физиономию, разукрашенную пацаньими кулаками, родитель поубавил свой гнев, увернул его до крайности, как фитиль в лампе по соображениям экономии. Он даже не воспользовался чересседельником, который был у него под рукой, а лишь, ни о чем не расспрашивая, дал мне легкого подзатыльника, весьма, впрочем, болезненного, поскольку место это на моей голове уже успело ознакомиться с ручищей дяди Ивана, куда более увесистой и немилосердной. Может быть, отец торопился и главное объяснение со мною отложил до другого раза, но, с трудом пропихивая через задранную высоко вверх Карюхину морду хомут и матюгаясь, по обыкновению, он успел бросить в мою сторону:

– погоди, паршивец! Я еще с тобой поговорю! Однако эта угроза была уже не угроза. Наказать меня полною мерой отец мог лишь под горячую руку. И если он не сделал этого сейчас, то позже не сделает и подавно... Но Ванька!..

Он не выходил из моей головы. Мне не терпелось встретиться с ним и вновь сразиться. «Уж я ему покажу!» – мстительно думал я, не зная в тот день, что душевное мое смятение усилится и обострится, когда к чувству обиды на бывшего друга прибавится сознание огромных, невосполнимых потерь и утрат, неизбежно последовавших за этой неожиданной ссорой.

Начать с того, что на другой же день я смог убедиться, что уже не могу, без риска быть перехваченным Ванькой и его сподвижниками, проведать своих двоюродных братьев, потому что их отец, а мой дядя Петруха, еще раньше нас покинул дедово подворье и поселился с большой своей семьей на Хуторе, в

дальнем его конце, так что путь к «сродникам» лежал через Ванькину улицу.

Планируя подстеречь Ваньку на дороге к его дяде, я совершенно упустил из виду, что он мог сделать то же самое со мною по дороге к дяде моему. И Ванька сделал это. Сделал первым, перехватив меня на своей улице вместе с Федькой Пчелинцевым в момент, когда я направлялся к дяди Петрухиному дому, чтобы в кругу веселых его сыновей, с которыми еще недавно жил под одной крышей, поврачевать не столько физические, сколько душевные раны. Отомщен я был лишь через неделю, когда в свою очередь подстерег Ваньку в Непочетовке и с помощью Гриньки Музыкина хорошенько отдубасил.

Так началась наша с Ванькою охота друг на друга. Теперь ему и мне приходилось ждать темноты, чтобы под ее покровом проскользнуть незаметно мимо неприятеля либо совершать обходной маневр, делать большого кругаля, чтобы опасный путь оставался далеко в стороне. Но такой номер проходил лишь на первых порах, потому что обе враждующие стороны быстро раскусили эту уловку и устраивали в соответствующих местах засады из самых востроглазых и отчаянных ребят – своих союзников: из моей компании такую роль взяли на себя Гринька Музыкин и Петенька Денисов-Утопленник, ну а из Ванькиной – два его друга – Пчелинцев Федька и Васька Мягков, живший по соседству с Жуковыми. Все они вызвались на такое рискованное дело добровольно, а потому и были особенно надежны в отрядах.

Со временем закадычный друг Самоньки, а мой родной брат Ленька, так же, как и мы, нимало не подозревавший, что с этого Самоньки-то все и началось, принужден был провожать меня чуть ли не до самого дяди Петрухиного дома, но это не предотвращало драки, а скорее усугубляло ее, прибавляло ей ярости и увеличивало в размере, потому что к Ваньке Жукову и его сверстникам в таком разе обязательно подключался его старший брат Федька, который был если и не сильнее, то гораздо задиристее Леньки – такова порода всех Жуковых. В результате влетало и мне, и моему братцу, и еще многим другим с Непочетовки и Хутора, самую логикой обстоятельств вовлеченным в уличные события.

Горше всего было то, что некогда веселое путешествие, сулившее одни радости, превратилось вдруг в «хождение по мукам». Прежде оба мы, побывав у родственников либо исполнив другое какое-нибудь поручение на селе, любили забежать на обратном пути друг к другу. При этом каждый торопился показать товарищу все свое богатство. Я, например, специально для Ваньки извлекал из тайника козны. Вместе мы их пересчитывали, пересортировывали, отбирали

которые покрупнее на битки; из другой печурки доставалась оловянная пластинка – заводское клеймо на веялке, отодранное мною в дедушкиной риге на Малых гумнах; мы расплавляли его в жестяной банке на раскаленных углях и заполняли оловом продырявленные битки, чтобы они были поувесистей и более подходящими для сокрушения кона во время игры. Потом выходили во двор и гоняли моих голубей. Ничего, что они были обыкновенные сизари, постоянные обитатели церковных и иных «казенных» чердаков, что ничем не походили на белых и оранжево-красных, выведенных голубятниками, – такие водились в специальной клетки над поветью во дворе отца Василия и, вспугнутые старшим поповичем Тимонькой, кувыркались в воздухе так и сяк, выделявая высоко над крышей бог знает какие штуки. Нашим до этих далеко. Но силою безграничной фантазии мы возводили их в ранг самых что ни на есть породистых и благородных. Забравшись на крышу сарая, я махал там палкой, а Ванька, засунув в рот пальцы чуть ли не до второго сустава, издавал разбойничий посвист, и напуганные до смерти голуби, не понимая, чего мы от них хотим, звонко шлепая крыльями, металась над моей головой не хуже зобастых поповских баловней-турманов.

В поднятом нами «дыме коромыслом» обязательно принимал участие Жулик, маленький, лохматый, черный пес с лисьей мордой. Прежде его имя было Жучок, но поскольку лису он напоминал отнюдь не только одной внешностью, то и был переименован в Жулика. Пес, кажется, нисколько не огорчился этим, быстро привык к новой кличке, но не забывал и прежнюю, отзывался и на нее, ежели его подманивали с добрыми намерениями, а не для того, чтобы дать пинка за очередную кражу. Подстегнутый Ванькиным свистом, Жулик носился как угорелый, оглашая двор неистовым, визгливым лаем, так что даже равнодушная ко всему, кроме еды, старая наша Карюха отрывалась от корма, подымала тяжелую морду и недовольно всхрапывала, вспрядывая ушами. Непременно выкатывалась откуда-нибудь и наша свинья Хавронья, и Ванька, словно бы только и ждал этого момента, вскакивал ей на спину и, как лихой наездник, мчался на ней верхом, пока взбешенное животное, крутнувшись волчком, не сбрасывало его наземь. Недовольное, гулкое Хавроньино «охр-охр-охр» еще долго слышалось из хлева, куда свинья вновь убиралась подобра-поздорову. Куры, если такое случалось летом, спешили укрыться возле плетней, под горькими лопухами и высоченной крапивой, опасной для наших босых ног, но совершенно безобидной и даже спасительной для квочек. Лишь петух Петька, кроваво-красный, как заходящее солнце, считал своим долгом не прятаться и защищать всполошившийся свой гарем громогласным криком с какого-нибудь возвышения.

Горькие лопухи были приманчивы и для нас с Ванькой, потому что их легко вообразить ветлами, а только что распутившиеся, голубовато-фиолетовые, сиреневой окраски, большие мохнатые цветки – грачиными гнездами. Вышелушив из зеленых еще стручков горошины, мы помещали их в эти воображаемые гнезда и, махая раскинутыми руками, как крыльями, неестественно громко кричали, уподобляя свои голоса птичьему граю. Горошины, на время игры заменявшие нам грачиные яйца, потом поедались нами.

За горохом приходилось бегать очень далеко, потому что его сеяли верстах в пяти или семи от села, надеясь таким образом сберечь лакомый злак от мальчишеских нашествий. Ванька Жуков каким-то образом выслеживал, где находится та или иная гороховая делянка, выслеживал, брал ее на заметку и в положенный срок, в самое неподходящее для гороха время, когда он, налившись в стручках, делается непередаваемо сладким, подмигивая мне, объявлял: «Завтра пойдем в Липняги!» Иным летом он называл Сафоново, Дубовое, Березово или какие-то другие крайние места на нашем поле, где, по Ванькиным сведениям, посеяны и теперь созревают горохи.

Ночь перед таким походом была беспокойной, тревожно-радостной – такой она бывает, наверное, у взрослых, когда они собираются на первую охоту. Чтобы нас не заподозрили в худых намерениях, мы говорили о чем угодно, но только не о нашей завтрашней вылазке. Мне хотелось позвать с собой Кольку Полякова, Миньку Архипова и Петеньку-Утопленника, но Ванька Жуков решительно возражал, полагая, что компанию легче обнаружить, чем двух мальчишек. В конце концов я соглашался, хотя и было боязно. Недаром же говорится, что на миру и смерть красна. Смерть нам не угрожала, это-то мы знали, но высечь могли за милую душу, и ежели в артели на твою долю пришелся бы один, ну от силы два удара кнута или плети, то на двоих хозяин гороха отмерит и по десятку, попадись в его руки.

Отправлялись в поле до рассвета, со вторыми петухами, когда наши матери не выходили еще во двор доить коров. Ванька в таких случаях приходил ночевать ко мне, и мы устраивались на сеновале и, разжигаемые предстоящей операцией, тихонько разговаривали либо, тоже очень тихо, разучивали какую-нибудь новую песню. Особенно нравилась нам одна. Ее мы услышали (что было уж совсем неожиданно) от Ивана Павловича Наумова в день, когда нас принимали в пионеры и когда вроде бы я никого и ничего не мог слышать и слушать, кроме легкого шелеста и похлопывания под порывами ветра пламенного лоскутка

материи на своей груди. Но эту я услышал:

Ах, какой у нас дедушка Ленин,

У которого столько внучат!..

Я хочу умереть в сражение

На валу мировых баррикад.

- А что такое баррикады? - спрашивал меня Ванька.

- Не знаю, - отвечал я честно.

- А я знаю! - гордо возвещал Ванька.

Чтобы подзадорить его, я суперечил:

- А вот и не знаешь!

- А вот знаю!

После небольшой словесной перепалки Ванька изрекал наконец:

- Баррикады, знаешь, это... это такая высоченная-превысоченная штена ш пушками и пулеметами. Па-па-па-пах-пах!.. Во!

Я больше не спорил. Сказанное Ванькой, да еще с такой убедительной силой в голосе, а также воспроизведенная им так похоже ружейная пальба убеждали и меня.

- Мы не проспим? - спрашивал я на всякий случай, возвращаясь мыслью к тому, что нас ожидало завтра.

- А мы не будем шпать! - объявлял Ванька как давно решенное.

- Совсем? - удивлялся я.

– Шовсем! – подтверждал Ванька. Но я еще сомневался:

– Совсем-совсем не будем спать?

– Шовсем-шовсем! – заключал Ванька еще решительнее. – Федька, братка мой, шказывал, што в ночном они вовше не шпят. Играют только в «хорька» да мажут друг дружку дегтем.

О том, что старшие наши братья при ночном выпасе лошадей коротают время именно таким образом, я хорошо знал и без Ванькиного сообщения, потому что Ленька возвращался со степных лугов чумазее сельского кузнеца Ивана Климова, усеянного, точно черной сыпью, железной окалиной. Отмыть лицо, выпачканное дегтем, – дело мудреное, да Ленька, кажется, и не особенно торопился с этим делом: стоило ли трудиться, ежели в ночь на следующее воскресенье ребяшня разукрасит его сызнова?

– Значитса, не будем спать? – справлялся я еще раз, боясь, как бы Ванька не передумал. Но тот уверял категорически:

– Шкажал, не будем – жначит, не будем!

В такую минуту он был для меня особенно дорог, и мне хотелось обнять его.

Игра в горьких лопухах у нас и проходила обыкновенно после успешного похода на горохи. Счастливые, в такие дни мы бывали чрезвычайно шумливы. И когда расходились выше всякой меры, на пороге появлялась моя мать и, всплеснувши руками, сокрушенно восклицала: – Нечистый вас побери! Моченьки моей от вас нету!.. Вы что же тут вытворяете?! Уймьтесь же ради Христа!..

Мы унимались, но не ради Христа, который находился бог знает где и не мог нас слышать, а ради моей кроткой, бесконечно доброй мамы, у которой этот «нечистый» был единственным помощником, – только им и могла она припугнуть нас, мальцов, да «хабалина» мужа, который, напившись у мельника ли, у других ли выпивох, приходил домой и, покуражившись, налетал на жену с кулаками, сводя с нею какие-то давние и непонятные для нас счеты.

Прекращали мы свою беготню по двору еще и потому, что для Ваньки приспевала пора возвращаться домой. Расставались весело, страшно довольные друг другом, потому что могли в любой день встретиться вновь. Теперь уж у Ваньки, а там, пожалуй, было еще интересней. В определенный час Ванька выходил за калитку, хватал меня за руку и сразу же вел в избу, чтобы перво-наперво показать свое стремительно увеличивающееся кроличье стадо.

Мы не сооружали для своих трусов (очевидно, за робость так зовут не только в нашем селе кроликов) специальных помещений, клеток там или чего-то другого, а содержали их большей частью под полом дома или в погребницах. В Ванькиной избе пол был земляной, и кролики жили прямо на этом полу, издырявленном сплошь их глубокими норами. Хотя крольчихи, отметав потомство (они делают это несколько раз в году), тщательно замуровывали, закрывали вход в нору (тогда я не мог понять, как в ней не задохались крольчата), Ванька безошибочно находил эти норы и знал, из какой и когда должны появиться крохотные, либо белые, либо серые или черные, пушистые живые комочки. Об их скором появлении он оповещал меня заранее, и я принаравливал свой приход к товарищу именно к такому моменту. Усаживались у норы, из которой только что вылезла мать-крольчиха и которую она оставила открытой, мы, чуть вздрагивая от нетерпения, ждали. И, как бы ни следили, все-таки не улавливали мига, когда трепетный клубочек оказывался возле норы и, смешно шевеля рассеченной надвое верхней губой и передергивая усиками, обнюхивался, зыркал туда-сюда красными глазенками, стриг, точно ножницами, длинными ушами. Замерев, придерживая предупреждающе друг друга за коленку, мы давали новому жителю земли освоиться, познать первые азы жизни на белом свете. Осмелев, крольчонок непременно удалится от входа своего убежища, убежит от него настолько, что его можно подхватить, взять в пригоршню, поднести поближе к глазам и хорошенько разглядеть. Ничего, что маленький натерпится страху, – пускай привыкает, ведь отныне ему предстояло быть рядом с этими большими и страшными только на первый взгляд существами, называемыми людьми. За первым из норки скоро появлялся и второй, за вторым – третий, и так до семи, а то и больше штук. Ванькиной гордости не было границ. Подержав в руках крольчонок, он осторожно передавал его мне, и, ежели тот не пищал, я грел малыша в своих ладонях минуту-другую, а затем с еще большей осторожностью опускал на пол. Перетрусивший зверушонок не вдруг отыскивал нору, а поначалу забивался в угол избы и, сжавшись в чуть видимый клубочек, сидел там до тех пор, пока к нему не возвращалась сообразительность. По глазам моим, по восторженным вскрикам Ванька догадывался, какой из крольчат мне больше всех понравился, и на прощание великодушно обещал: «Я подарю тебе энтова. Он от шамой большой трушихи. Вот только подрастет немного». И не

забывал исполнить своего обещания. Теперь и у меня под полом обитала кроличья семья. Не такая, правда, большая, как у Ваньки, но все-таки и немалая. Серая крольчиха опять уж сукотная, скоро окролится, и стадо сразу увеличится штук на семь, а то и на восемь.

Но будет ли радость от такого прибавления, когда о нем не узнает Ванька и когда нельзя уж будет похвастаться перед ним и получить совет, как ухаживать за кроликами, какую траву носить им?

Вопрос этот, разумеется, не стоял передо мною вот так прямо и обнаженно. Но он уже жил во мне и будет жить долго рядом с множеством других, таких же беспокояно-тревожных, – тех самых, о которых я уже говорил и от которых все во мне и вокруг меня подергивалось – и чем дальше, тем больше – какую-то липкой, привязчивой, сероватой, нерадостной и унылой пеленой, которую я хотел, но не мог разорвать. Пелена эта делалась все плотней, по мере того как становились все очевиднее и осязаемее последствия нашей с Ванькою размолвки.

Что-то тесновато стало на душе. Я, правда, пытался восполнить свою утрату тем, что еще плотнее приблизил к себе других сверстников. В школе на другой же день упросил Марию Ивановну, чтобы она пересадила меня за парту, за которой сидел Миша Тверсков – тихий, не по годам серьезный и очень способный к учению мальчишка, ни разу не принимавший участия ни в одной ребячьей потасовке, в том числе и в нашей с Ванькою. Миша был единственным сыном в многодетной семье Степашка и Аксиньи Тверсковых. Росточком он вышел в отца, который был очень уж мал сам по себе, но еще более мал рядом с дородной восьмипудовой, похожей на гору Аксиньей. Супружеская эта пара была предметом постоянных упражнений в остроумии у сельских пересмешников, и моего отца в первую очередь. «Степашок, – донимал он Тверскова-старшего, – и когда вы только перестанете со своей Аксиньей плодить одних девок? Где ты наберешь для них женихов? Глянь, как они у тебя прут! Скоро Аксинью догонят и перегонят. Кто рискнет взять такую замуж?.. На нее еды не напасешься! Ей, матушке, навильником надо будет подавать на стол!.. Не говоря уже обо всем другом... прочем... Гм-гм!..» – похмыкивал мой родитель.

До Миши у Степашка успели народиться пять дочерей. Заполучив наконец сына, Степашок почему-то не остановился, не поставил точки, а обзавелся после Михаила еще тремя дочерьми. На всех восьмерых даже не подыскали разных имен, и потому в семье Степашка были две Марии и две Евдокии, и различали их

только тем, что называли: Маша-старшая и Маша-младшая, Дуняшка-старшая и Дуняшка-младшая; иногда путались: старшую называли младшей, а младшую старшей. И это немудрено, ежели иметь в виду, что разница в возрасте у дочерей исчислялась всего-навсего одним годом, так что иная из младших, угодив в мать, обходила в росте старшую на целую голову. Хоть и беден был Степашок, но от отца Василия не желал отставать: у того до Тимоньки было пять девчонок и после Тимоньки еще три, и у этого – то же самое. Впрочем, на том сходство двух этих семей и оканчивалось: наличие такого большого количества ртов для отца Василия не было обременительным (об этом заботился весь батюшкин приход), для Степашка же оборачивалось грузом, явно неподъемным для однолошадного и не шибко изворотистого мужичка. Не приди на помощь «общество», хранившее в гамазее определенный запасец ржицы для таких вот бедолаг да еще для погорельцев, тошнехонько пришлось бы Степашку, да и Аксинья поубавилась бы в теле – собственного урожая им хватало лишь до Рождества.

Единственного сына среди дочерей – Мишу, конечно, не могли не баловать родители, но баловнем он не стал. Потому, может быть, что по характеру своему с самых малых лет оказался слишком строг к себе, а может, и потому, что у «неимущих» отца и матери попросту ничего не было такого, чем бы они могли выделить сына от других детей, разве что повышенной любовью и лаской.

Так подробно я рассказываю о Мише Тверскове потому, что он тотчас же взял меня не только за свою парту, но и под свое покровительство, исключавшее, однако, его участие в драке на чьей-либо стороне. Впрочем, никто от него и не требовал этого. Мне, например, достаточно было и того, что Миша согласился сидеть в школе рядом с драчуном (кличка эта надолго закрепилась и за мной, и за Ванькой) и приходить к нему на дом, чтобы вместе готовить уроки, а приготовив, оставшееся до ночи время употребить на то, чтобы отшлифовать перочинными ножичками и кусочками наждака тоненькие палочки – древки для красных флажков, с которыми школьники пройдут по главной улице села в день 7 ноября. Я собирался это сделать с Ванькой и получил было такое задание от Марии Ивановны, которая – не по возрасту – была у нас еще и пионервожатой, и радовался тому, что будем по вечерам и по воскресным дням сидеть по многу часов вместе. Кроме палочек мы должны были большущими буквами написать несколько праздничных октябрьских лозунгов, а лучшим рисовальщиком в нашем классе был опять же Ванька Жуков. Теперь его не будет рядом со мною, и серьезное задание Марии Ивановны могло остаться невыполненным, не приди ко мне на помощь Миша Тверсков – он тоже неплохо выводил крупные буквы, наряжая их в разные яркие цвета тонюсенькой кисточкой, отдавая

предпочтение цвету багряно-красному. Подключились к нашим делам и Петенька Денисов-Утопленник с Колькой Поляковым и Минькой Архиповым – этим поручалась грубая работа: они бегали в лес, к Дальнему переезду, и приносили для нас с Мишей «сырье», то есть необтесанные палочки молодого пакленика и липы. Окончательную их отделку должны были производить мы с Михаилом Тверсковым, а это очень колготная, затяжливая работа. Прошлой осенью она очень спорилась, поскольку Ванька Жуков приходил ко мне с Хутора не один, а прихватывал с собой Федьку Пчелинцева и Ваську Мягкова, слывшего великолепным «мастером по дереву», потому что лучше него никто не мог делать свистки из ветлы, липы и вяза в пору, когда лыко этих деревьев, после легкого постукивания по нему деревяшкой, легко снимается со ствола, оставляя его беспомощно нагим и трогательно-жалким, – то есть в конце мая или начале июня, к Троицыну дню. Но Васьки Мягкого не будет, равно как и многих других с Хутора, перекинувшихся вместе с Ванькой Жуковым из друзей в лагерь моих недругов, – потеря немалая. Приходилось дорожить теми, которые есть и которых в общем-то было много. Но корень зла состоял в том, что я очень остро, болезненно чувствовал, что никто из них, в том числе и Миша Тверсков, и в малой степени не мог заменить мне Ваньку Жукова. И странно, что при всем при этом я не только не искал примирения с ним, но еще больше озлоблялся против него.

Словом, драки наши продолжались, становясь со временем все яростнее и жесточе. Случались они так часто, что полученные раны в одной схватке не успевали зажить, затянуться, даже чуть подсохнуть к следующей. Было бы еще полбеды, если б в них участвовали лишь два пацана (велика печаль!), но ведь в наши потасовки неотвратимо втягивалось все большее число людей разных возрастов, и глухая волна ежели и не открытой вражды, то неприязни и отчуждения грозила выйти из берегов и захлестнуть все село, жители которого с давних лет переплетены тесными узами родства, сватовства, кумовства и других привязанностей.

4

Вечером следующего после заглавной потасовки дня наши отцы (матерей, ежели они не вдовы, директор никогда не вызывал), собравшись в школе, вместе с Иваном Павловичем сделали энергичную, но не очень результативную попытку отыскать ее зачинщиков – нельзя же применить высшую меру наказания,

каковой являлось исключение из школы, к целому классу! Кто-то из разумных мужиков сразу же уточнил: надо, мол, искать зачинщика, но не зачинщиков, потому как «зачин мог исделать» кто-то один, а не два и не три одновременно. С этим согласились. Оставалось назвать этого одного. После долгого, неловкого и тягостного для всех молчания Григорий Жуков, предчувствуя, что кто-то упредит его и первым назовет Ванюшку (больно уж задирист, подлец!), осторожно, со всяческими оговорками, подбираясь к основной своей мысли ощупью и поперхнувшись под конец, хрипло, вполголоса произнес мое имя, сославшись на то, что сын-де, Ванюшка то есть, «готов подтвердить это самое».

– Нашел свидетеля! – правый ус Ивана Павловича (он у него был чуток длиннее левого) шевельнулся в ядовитой усмешке, которую очень трудно уловить на лице учителя. – А не с Ванюшки ли вашего все и началось?

– С него, с него! – радостно подхватил Иван Морозов. – Я сам видел, как он, паршивец, налетел и того... этого! – церковный сторож ничего не мог видеть, потому что прибежал с отцом Василием из церкви, когда побоище было уже в полном разгаре. Солгал потому, что хотел выручить племянника, на которого собирались свалить вину со всеми вытекающими последствиями.

«Не хватало еще, чтобы Мишку исключили из школы! С него довольно и того, что я всыпал ему чертей вчерась!» – подумал про себя мой отец, а вслух сказал, взглянув на своего давнишнего друга и собутыльника с укором:

– И тебе не стыдно, Григорий Яковлевич, возводить поклеп на других? Нашел драчуна! Да мой Мишка отродясь ни с кем не связывался. Ежели б речь шла о Леньке... Тот может... А Мишка – ну, нет, шалишь, Григорий!.. Порасспрашивай-ка хорошенько своего сукина сына! Сам знаешь, что не было на селе такой драчки, в какую не встрял бы твой Ванька! Ведь он чистый петух у тебя!

– Сам знаю, что не ангел. Но разобраться все ж таки надо. А то как же так... сразу. Все на него?.. Так рази можно?..

Иван Морозов, у которого слух сильно притупился от звона стопудового колокола, оттягивая мочку уха, чтобы хорошенько расслышать, что там говорят другие, и, по-видимому, испытывая легкое угрызение совести, вновь подал свой голос:

– Надоть притащить за волосья негодников и допросить их тут как следоват!

Но еще прежде, чем «подсудимые» явились пред строгие очи взрослых, эти последние пришли к единодушному выводу, что драку затеяли мы с Ванькой. И чтобы выяснить, кто все-таки из нас двоих начал первым, в школу притащили нас – не за волосья, правда, а за руки, и сделал это наш сосед отец Василий, имевший на меня зуб, потому что я не мог отказать себе в удовольствии в конце августа, на второй Спас, забраться в батюшкин сад и набрать в нем полную пазуху анисовых яблок, вкусных и пахучих до невозможности. Но так как Ванька в таком разе, за редким исключением, был со мною, то поповский «зуб» целился и в него. Поэтому, надо думать, и приволок нас отец Василий с очевидным удовольствием.

Однако добиться от драчунов чего-либо не удавалось. На все вопросы мы отвечали упрямым молчанием, не подымая глаз ни на мужиков, ни друг на друга. Молчали из-за гордости, из нежелания прослыть ябедами, то есть людьми, наиболее презираемыми в мальчишеском общежитии.

– Что ж, гос... – тут вновь у Ивана Павловича едва не вырвалось слово «господа», и вновь он вовремя перехватил его и придавил, – что ж, придется исключить обоих.

– То есть как это исключить? – белые глаза моего папаньки округлились и стали совсем матовыми. – Как исключить? За что?

– За што? – эхом отозвался побагровевший Григорий Жуков, в один момент ставший опять союзником моего отца.

– Да, дорогие папаши, исключить! – повторил Иван Павлович строже, хороня усмешку под правым, чуть шевельнувшимся усом. Сделав паузу, в течение которой напряжение в классе приблизилось к критической отметке, закончил: – Для начала – из пионеров. А там посмотрим...

Такой оборот дела скорее успокоил, нежели расстроил наших родителей, но зато испугал нас с Ванькой, да так, что мы разом, точно нам кто скомандовал, дали реву – куда только подевалась наша гордыня?! Стоявшая позади и не принимавшая никакого участия в судилище Мария Ивановна положила руки на наши плечи и, скрывая от всех свои покрасневшие и увлажнившиеся вдруг

глаза, быстро увела нас в свою комнату, где постаралась успокоить:

– Это он так... чтобы припугнуть маленько. Никто вас не исключит из пионеров. Вы ведь не будете больше драться? Не будете, да?

Мы не были уверены в этом, а потому и отмолчались.

– Негодники, – сказала Мария Ивановна с ласковой, материнской грустью и, сунув каждому по леденцу, легонько подтолкнула к двери: – Ступайте домой и готовьте уроки. Эх, вы, драчуны!

Выскочив на улицу, мы обменялись оплеухами и, погрозив еще друг дружке кулаками, опрометью понеслись, «залишились» в противоположные стороны: я в направлении Непочетовки, Ванька – своего Хутора. Отбежав с полверсты, я вдруг вспомнил об одном удивившем меня явлении: посылая вслед мне угрозы, составленные из многих порицательных слов, Ванька вполне обходился без шепелявости. Когда и как он успел избавиться от этого изъяна в своей речи? Не повзрослел ли он на пару лет после нашей горячей схватки? Говорят, от сильного потрясения нормальный человек может стать заикой, а заика – нормальным. Не это ли самое происходит и с шепелявыми? Во всяком случае, я отчетливо различил в Ванькиной бранчливой словесной очереди звуки «с» и «з», каковые еще позавчера превращались у Ваньки в «ш» и «ж». Отлепится ли теперь от него прозвище Шепелявый? Я не хотел, чтобы это случилось, и решил про себя, что буду по-прежнему дразнить его этой кличкой, – пускай злится, так ему и надо. И я заорал что есть моченьки:

– Шепелявый-ы-й!

Голос мой, похоже, достиг Ванькиного уха, потому что в ответ я услышал отдаленное:

– Челябинский!

Это уже было мое прозвище. Обязан им я своей матери, которая, навестив мужа, служившего тогда в этом южноуральском городе, «привезла» меня оттуда, к вящему неудовольствию свекрови, отговаривавшей сноху от такой поездки. Бабушка Олимпиада, или Пиада, как звалась она в нашем доме, настойчиво твердила: «Не ездь, Фросинья! Есть у тебя троица, привезешь четвертого. Нас и

так вон сколько на одной дедушкиной шее! Не езд, ради Христа!» Сноха заупрявилась, и в результате явился на свет Божий я, Мишка Челябинский-Хохлов. Хохловыми нас звали все в Монастырском, потому что моя прабабка Анастасия, Настасья-хохлушка то есть, была привезена моим прадедом Николаем Алексеевым, участником Крымской кампании, откуда-то с Украины, кажется, с Полтавщины. Я хорошо помню эту крупную и ласковую старуху, вокруг которой мы, ее многочисленные правнуки и правнучки (три невестки в доме не теряли времени попусту и быстро наполнили пятистенку детворой), вертелись, как цыплята возле клушки. «Шоб вам повылазило!» – покрикивала она, улыбаясь при этом всем своим широким, мягким лицом, освещенным хорошими голубыми глазами, – в девичестве их, наверное, называли очами. Прабабка Настасья-хохлушка пережила бабку Пиладу, пережила бы, может быть, и своего единственного сына, а нашего дедушку Михаила, если бы не теленок, который, боднувшись, сшиб со щеки старухи большую родинку, делавшую ее лицо еще добрее и ласковее для нас, ее правнуков. «Приключился рак у Настасьи-хохлушки», – услышал я однажды от соседей, ничего не поняв из этих слов и все-таки страшно испугавшись. Вскоре на месте, где была родинка, появилось какое-то большое, величиною с медный пятак, пятно, сменившееся маленькой дыркой, через которую вытекало молоко, когда прабабушка пила его из медной кружки. Настасью-хохлушку любили на селе, и, когда она померла, на похороны пришло множество людей, столы для поминок пришлось ставить во дворе, и весь двор, помнится, был пропитан пряным духом лаврового листа и укропа. Нас, детвору, усадили за эти столы в третью, последнюю, значит, очередь, и я был горд до чрезвычайности, что все это происходит у нас, что я тут хозяин и могу посадить Ваньку Жукова рядом с собой, а Яньку Рубцова – где-нибудь подальше. Поминки (а они в большой нашей семье были не редкость) воспринимались мною как праздники, и самый яркий из них, пожалуй, был вот этот – по случаю смерти прабабушки.

В кличке Челябинский ничего обидного вроде и не было, но я все-таки очень злился, когда слышал ее. Ванька знал про то, а потому и швырнул ее мне вдогонку. Я во второй раз запустил в него «Шепелявым», но этот снаряд, по видимому, уже не достиг цели. Должно быть, мой бывший дружок к этому моменту находился в «сфере недосягаемости».

Между тем на школьном собрании, проходившем под председательством Ивана Павловича, было принято решение, из которого следовало, что считать зачинщиками надобно нас обоих, а меру взыскания должны определить родители. Но поскольку они уже «взыскали» с нас, не дожидаясь этого решения, а за один проступок двух наказаний не выносят, то мой и Ванькин отцы,

посоветовавшись немного еще меж собой, пришли к заключению, что для младших сыновей действительно хватит и тех «чертей», которых они уже им «всыпали».

От школы Николай Михайлович и Григорий Яковлевич какое-то время шли вместе, пока на перекрестке двух улиц, Садовой и Завидовской, не расстались. Шли и мирно калякали. Про нас же было сказано то, что и должно: «Ребятишки, чего с них возьмешь. Подерутся и помирятся. Только и делов!»

– Заглядывай, Миколай! – сказал на прощание Григорий Яковлевич.

– Загляну как-нибудь. Да и ты мимо-то не проходи. Заглядывай. Восейка мельник завернул ко мне. Просит навестить его. Может, вместе прокатимся в следующую субботу. Как ты?

– Да я что ж... С удовольствием!

Все как будто чин чином, но ни мой, ни Ванькин отец почему-то так и не «заглядывали» друг к другу, и к мельнику Николай Михайлович отправился один, не сделав ни малейшей попытки прихватить с собой «Гришку Жучкина», как называли его за глаза. Не заглядывал к Жуковым и мой средний брат Ленька, хотя до этого дружил с Федькой, который почти на равных мог сыграть с ним и в козны, и в карты – достоинство, конечно, редкое, и брательник мой не мог не ценить его. Сейчас и эта дружба распалась. Что касается матерей, то их ссора началась на следующий день за нашей. Узнав о драке возле школы все от того же отца Василия, мама моя, побросав все домашние дела (а их у нее было «сэ-столько», то есть великое множество), тотчас оказалась у подворья Жуковых, и началась ее перепалка с Ванькиной матерью. Перестрелка, как и водится меж бабами на селе, велась через плетень, превращавшийся в таких случаях в баррикаду; мама начала с того, что без всяких предисловий объявила:

– Эт, Веруха, твой все натворил! Баяла я своему дурачку: не водись ты с этим разбойником Жучкиным! От ихней породы жди одной беды. Руки ваших сынков, Веруха, то в драку, то в чужой карман тянутся. Знам мы, какие они... Не дай и не приведи Господи!..

Веруха вскинулась:

– Эт за што же ты, Фросинья, нас страметишь?! А?.. Што мы исделали такова, штобы слышать твои поношения?.. В чьи это карманы мы залезли?.. А?.. Да как же тебе не стыдно, Фросинья? Ты бы лучше за своим сопливым надглядывала. С виду-то он у тебя тихоня, а вредный страсть какой. Послушала бы, што сказыват о нем ваш шабер отец Василий. Ведь житья от ваших Ленки да Мишки ему нету!.. Все пощат и в саду, и в огороде, подлецы!.. А Мишке, щенку своему, передай, штобы и ноги у нас его не было!..

– Нашла чем стращать! Он и сам ни в какие веки не придет к твоему душегубу. Плевать ему и на вас на всех!

– А ты бы не плевала в чужой-то колодезь, как бы не пришлось напиться из него. Убирайся подобру-поздорову от моего дому, а то... не ровен час... – Ванькина мать недоговорила – только послала в сторону моей матери звучный плевков и шмыгнула в сени, громыхнув дверь так, что с оконных стекол посыпалась старая замазка, а куры с паническим кудахтаньем покинули завалинку и разлетелись по всему двору. Мать моя что-то еще выкрикнула, но голос ее был начисто потерян в переполошном курином гвалте.

Исходя благородным гневом, Ефросинья Ильинична всю дорогу к своему дому продолжала поругивать Жуковых, и так громко, чтобы вняли ей другие бабы, которые, заслышав перебранку, тоже приостановили свои дела, радуясь в душе, что подвернулся для этого подходящий случай. В эту минуту и они, верно, решали, какую сторону принять – Фросиньину или Верухи. Не в обычаях деревенских женщин оставаться безучастными в подобных обстоятельствах. Одна уже успела определиться, выкрикнув:

– Право слово, эт он, Ванька, и заварил кашу!

Другая возразила:

– Ты б, Акулина, повременила со своим приговором. Мишка, хохленок энтот, тоже не даст спуска. Он младшенький у Фросиньи – вот она его и балует. Его бы сечь надо каждый божий день!..

– А ты, Матрена, секи уж своих, а на чужих не замахивайся!

– Я не замахваюсь. А так только говорю. К слову пришлось, – примирительно ответила Матрена и, махнув рукой, скрылась в глубине своего двора. Оттуда и закончила: – Нечистый их разберет, кто из них правый, а кто виноватый!..

Поприбавилось супротивников и у моих, и у Ванькиных друзей. Оказавшись по разным причинам в Непочетовке или на Хуторе либо в местах, тяготеющих к этим улицам, они так же, как и мы, действительно грешные, бывали жестоко биты ребятами, какие еще недавно являлись не только Ванькиными или моими, но и их приятелями. Теперь те и другие затевали меж собой драки отдельно от нас, автономно, так сказать. Отпочковавшись от наших, они, эти их стычки, приобретали как бы самостоятельное значение и по накалу ничуть не уступали нашим. Не надо забывать, что у всех этих ребят (на девчонок наши распри почему-то не распространялись) были отцы, матери, братья, которые если б и захотели, то вряд ли долго оставались бы нейтральными. Наш Ленька, например, успел уже несколько раз сцепиться с Федькой без всякого участия с нашей (моей и Ванькиной) стороны. Ночью, прижимая меня поплотнее к своему разгоряченному, не остуженному еще после схватки телу, шептал мне на ухо хвастливо: «Ну, я ему всыпал – долго помнить будет!» Из этих слов можно было заключить, что сам-то Ленька вышел из боя целехонек, но перед утром, ни свет ни заря, вскакивал как ужаленный с постели и убегал из дому.

Ясно, Ленька не хотел, чтобы мы заметили на его лице следы ночного сражения.

Не вмешивались в наши дела лишь старший брат Александр, оставивший за Ленькой право защищать меня, и сестра Анастасия. Они и раньше не ходили к Жуковым, потому что в их семье не было для моего старшего брата и сестры ровесников. Настя к тому же заневестилась: у нее были свои заботы, куда серьезнее наших.

Но так ли уж они были несерьезны, наши дела? Утраты и потери, о которых сказано мною лишь мимоходом, с течением времени делались ощутимее. И далеко не для одних нас с Ванькой. Только никто либо не хотел сознаться в этом, либо не мог отдать ясного отчета. И недобрые круги разбегались по селу, как разбегаются они по воде от брошенного кем-то ради баловства камня, захватывая в свою орбиту все большее число действующих лиц. Бросивший же этот камень человек давно позабыл, что он его бросил, как забывается оброненный кем-то непогашенный окурок, от которого занялся большой пожар.

Для меня (думаю, что и для Ваньки Жукова тоже) помянутые утраты были особенно заметны при смене времен года и делились как бы на равные доли, ограниченные понятиями зимы, весны, лета и осени. Зиму мы ждали с не меньшим вожделением и нетерпением, чем, скажем, весну или лето. И не только потому, что дети вообще не любят постоянных величин: быстро меняющиеся с возрастом, они требовали того же и от окружающего их и только что открываемого ими мира. Потому-то простая перестановка мебели в избе либо немудрящая новая постройка во дворе (подправленный ли плетень, свежая веревка у ворот, даже возведенная посередине двора конусообразная и дымящаяся, как Везувий, навозная куча), появление с началом зимы телят и ягнят приводят малышей в неопиcуемый восторг, часто непонятный взрослым, которые, однако, не могут не умилиться от этой наивной и светлой детской радости. Времена года тем и хороши, что несут с собой обновление, всегда созвучное открытой детской душе.

У зимы было немало такого, чтобы мы, ребяташки, поторапливали ее с приходом. Тут тебе и катанье на коньках, на санках, тут и снежки, и просто кувыркание в сугробах, и поездка с отцом в лес за дровами по первопутку, когда полозья почти неслышно скользят по мягкому ослепительно белому, с рафинадной подсинькой, снежному полотну, а легкие снежинки невесомо усаживаются на твой нос, щекоцут его и заставляют громко чихать, а Карюхины недавно подкованные копыта чеканят большие снежные медали и бросают их в седоков, как бы в ответ моему отцу, который «пошевеливал» кобылу кнутом чаще, чем ей бы этого хотелось. А пускание юлы, длинной веретенообразной палки, выточенной из молодой ольхи, под белые курганы, воздвигаемые метелью? А прыганье с крыш, когда к ним карабкаются, поднимаясь все выше и выше, снежные валы? А прорубленные прямо в снежной стене пещеры?.. Да мало ли еще чего принесет с собой зима! Мы, ребяташки, готовы были простить ей даже то, что она усаживала нас за парты.

В первых числах декабря окончательно приостанавливала свой бег Баланда. Случалось это всегда лишь ночью. Лед, пока еще очень тонкий, но могущий удержать на несколько секунд таких молодцов, как мы с Ванькой, был еще не пригоден для катания на коньках, но очень хорош, чтобы творить на нем «зыбки». Взявшись за руки, мы быстро бежали, и лед под нами потрескивал,

зыбился, горбился, вставал впереди гребнем и, надо было успеть проскочить этот гребень раньше, чем ослабленный нашими многими пробежками лед проломится. Забава опасная (окончившаяся однажды для одного из нас «иорданью», купаньем в студеной воде; могла бы окончиться и похуже, не окажись поблизости мой дядя Иван Морозов, направляющийся по-над берегом реки в церковь), опасная, говорю, забава, но этим-то и приманчивая для нас, инстинктивно чувствующих, что «есть упоение в бою у бездны мрачной на краю». Кто хоть раз в детстве делал эти самые «зыбки» на молодом неокрепшем льду, тот по гроб не забудет наслаждения, испытываемого при этом. Тебе и боязно, и радостно, одновременно, и сердце собирается выскочить из груди, когда бежишь что есть мочи, а под тобой кто-то большой сопит, дышит и шевелится, готовый в любой миг схватить за озорную ногу и утопить в черной холодной пучине. И, собравшись с духом для следующей пробежки, ты говоришь себе, что она будет последней, но Ванька, весь светясь, красный от возбуждения, уговаривает: «Давай ищо разик!» И опять, схватившись за руки, несемся по льду, который к этому моменту из светло-голубого делался уже от бесчисленных трещин сплошь серым и угрожающе податливым.

Еще раньше, чем на Баланде, замерзала вода в наших Кочках (а они – вот они, под рукой!) и в лесных болотах – беспризорных детях, оставленных нерадивыми матерями-реками в пору весеннего разлива и забытых ими до следующего половодья. К болотам мы выходили раньше всего, но вовсе не для катанья. Там нас ожидало занятие не менее интересное, имеющее к тому же практическую ценность. На мелководье, под прозрачным, похожим на хорошо помытое оконное стекло ледком, среди зеленеющих, точно в аквариуме, водорослей и тины, в такое время снует туда-сюда, удивляясь резкой перемене обстановки, разная рыбешка: караси, шурята, линьки и даже более проворные и все-таки не успевшие вернуться в Баланду или Медведицу, окуни. Видеть их живых, юрких, улепетывающих от наших теней – само уж по себе удовольствие непередаваемое. Но ведь этих рыбок можно еще изловить, не прибегая ни к сачкам, ни к бредню, ни к удочкам, ни к иным каким снастям. Для этого Ванька Жуков приобрел где-то небольшой топорик (боюсь, что он «стибрил» его в кузне Ивана Климова: говоря о слабости Ванькиных рук относительно чужих карманов, моя мать не совсем была не права). Присмотрев подо льдом затаившуюся, замеревшую возле какой-нибудь травинки или осочинки рыбину, Ванька с размаху опускал над нею обушок топора, и тотчас же из маленькой лунки выскакивали то щучка, то карасик, а то и линек. Конечно, речь идет об ударе удачливом, а он даже у Ваньки получался примерно один из десяти. Но и «холостые» не могли огорчать ни Ваньку, ни меня, потому что оставляли после себя множество разноцветных, радужных «петушков» и заливчатый, серебряный

звон, кукушечьим учащенным криком разносившийся окрест. «Ку-ку-ку-ку-у-у-у» – катилось по просекам, над оголенными макушками деревьев, над полянами и лугами. Хорошо!

Для катанья же старшие братья мастерили для нас коньки (две чурки, две толстые проволоки, вмонтированные в эти деревяшки, четыре дырки, четыре веревочных шнура для скрепления с валенками, и коньки готовы!), и салазки, и «козлы», похожие на скамейку, но с широкой доской внизу и узкой, с плавными, покатыми вырезами с боков, сверху: нижняя покрывалась ровным слоем свежего коровьего навоза и заливалась на ночь водою, чтобы образовался лед для лучшего скольжения. Оседлав такую скамейку, мы катались на ней с Чаадаевской горы, стараясь ускакать как можно дальше и не упасть при этом, что удавалось далеко не всякому и не всякий раз: гора была длинной, крутой и с множеством перепадов, так что в иных местах «козел» и подскакивал вместе с тобою по-козлячьи – попробуй тут усиди на нем! Но именно эти-то коварные места на горе больше всего и привлекали нас с Ванькой Жуковым. Другие мальчишки не отваживались кататься с Чаадаевской горы, а ежели и катались, то не с ее вершины, а с полгоры. Честно говоря, вряд ли решился бы и я, не будь рядом со мною смельчака Ваньки – с ним пойдешь на любое рискованное дело.

Кататься сразу на двух коньках не умел даже Ванька, и до каких-то пор мы были убеждены, что на двух коньках и не катаются вовсе, пока не увидели на речке саратовского студента Виктора Наумова, сына нашего Ивана Павловича и Марии Ивановны, приехавшего в село на зимние каникулы. Он пролетел мимо нас, оторопевших и ошеломленных, на паре каких-то длинных, сверкающих солнечным блеском железках сперва в одну сторону, потом в обратную, и еще много раз туда и сюда, и, насытившись вволю нашим изумлением и потрясением, сделал несколько сужающихся, как бы окольцовывающих нас кругов. Затем резко остановился, обсыпав наши удивленные рожицы обжигающе-колючей ледяной крупой. Дав нам немного опомниться, прийти в себя, спросил, смахивая с рыжеватых бровей капельки пота:

– Нравятся?

Мы потерянно молчали.

– Хотите покататься?

– Ну их! – испуганно и поскорее ответили мы.

– Ну как хотите! – Виктор Иванович (через год-другой он сам станет преподавателем и какое-то время будет еще учить нас) сделал несколько крутых виражей и в один миг скрылся за поворотом реки, как наважденье.

Зимой охотились на зайцев, не с ружьем, понятно, до которого, не рискуя быть выпоротым отцом, мы и не дотрагивались, а с помощью небольших капканов, поставленных и хорошо замаскированных, припорошенных снежком на заячьих тропах, протоптанных во множестве в садах и огородах. Настораживать капкан без Ванькиной помощи я боялся, потому что мог угодить в него собственной рукой. Ставили тоже вместе, где-то под вечер, когда на снег ложились синие тени и мороз пробирался за пазуху, – шеи наши были всегда открытыми, разве что в лютую стужу матери закутывали их вместе с головой в свои шали. Простуды не боялись, а сопли под нашими носами никого не смущали – ни нас, ни родителей, – поскольку воспринимались как явления неизбежные и само собой разумеющиеся у детей. Они, правда, немного мешали нам, когда, склонившись над заячьей дорогой, мы осторожно подсовывали под снег однопружинный капканчик, делая все, чтобы он не сработал прежде времени – на морозе нам бы не насторожить его вновь и пришлось бы возвращаться для этого домой. Зайцы по большей части тоже были не дураки. Почуввав неладное, не бегали прежними тропами, а проделывали новые, иногда в одном вершке от той, где их подстерегал капкан. Но все-таки бывали случаи (пускай и очень редкие), когда длинноухий все же попадался и выдавал себя пронзительным, похожим на детский, криком. Задыхаясь и от великого волнения, и от бега по глубокому рыхлому снегу, мы какое-то время топтались вокруг зайца в нерешительности. Нужно было изловчиться и ухватить его сразу за обе задние ноги, ибо он может ударить ими по твоему пузу или лицу, как тугой пружиной, и оцарапать в кровь – такое бывало в прошлые зимы. В эту редкую торжественную для нас минуту командование всей операцией брал на себя, разумеется, Ванька Жуков, мне же оставалось слушаться его и исполнять распоряжения. «Я шхвачу жа ноги, а ты жа уши, и шражу в шумку!» – шепелявил он, и по взмаху его же правой руки мы вдвоем наваливались на плачущего зверька и, орущего, вместе с капканом совали в небольшой мешок. Домой возвращались не кратчайшим путем, а околесив чуть ли не все село: надо же было похвастаться добычей. Из всех дворов выбегали ребяташки, наши одноклассники и постарше, и просили, чтобы мы развязали мешочек и показали зайца. Мы охотно исполняли эти просьбы, потому что удивленные возгласы ребят подымали нас в собственных глазах, а в глазах сверстников делали настоящими героями. На следующий день в школе, во время переменок, меня и Ваньку окружали и просили снова рассказать, как это нас

угораздило изловить такого большого-пребольшого зайца. Мы, перебивая друг друга, рассказывали и вместе со всеми не слышали звонка, который надрывался в тщетной попытке разогнать нас по классам.

Не были мы совсем безучастными и к охотничьим промыслам, которыми занимались взрослые. А они охотились и на того же зайца, и на лисицу, и на хорька, и даже на волка.

Впрочем, охота на серого зимой была монополией только одного мужика в большом нашем селе – Сергея Андреевича Звонарева, доведившегося моей матери дальним родственником. Последнее обстоятельство важно отметить потому, что, поставив большие, именно волчьи, капканы где-то в степи, Сергей Андреевич на обратном пути заходил к нам, высмаркивался шумно у порога, пропускал, сбрасывая снег, большую клочковатую, белую не то от снега, не то просто седую бороду сквозь кулак и молча, по-хозяйски, присаживался к столу, где его уже поджидали граненый стакан самогона и стопа блинов, сдобренных темно-зеленым, густым и душистым конопляным маслом. К этому моменту я уже занимал лучшую позицию на печке, потому что, насытившись, дядя Сергей сперва расскажет, как и где поставил свои капканы нынешней зимой, где ставил в прошлые зимы, каких лавливал волков и что приключалось с ним, охотником, при всех удачах и неудачах, коих, неудач, было несравненно больше. Ежели и привирал, то в меру, допустимую для каждого охотника, тем более извинительную, что сам рассказчик верил в свое повествование беспредельно. Слушать длинные его были, перемешанные с небылицами, я готов (а если случался тут и Ванька, то и он) хоть день, хоть два, хоть целую неделю – так это было интересно. Если кто и тяготился малость от долгого сидения Сергея Андреевича, так это моя мать. Во дворе у нее еще «не поена и не кормлена скотинешка» (секретарствуя в сельсовете, папанька не обременял себя хозяйственными делами, да и времени у него на них не оставалось: с утра до ночи просиживал в конторе и составлял списки дворов кулацких, середняцких и бедняцких, зачем-то понадобившиеся в районе), а покинуть «сродника» в избе одного с детьми она считала неудобным, к тому же рассказчик нуждался в поощрении. Время от времени он умолкал и неуловимым движением подбородка давал знать хозяйке, что пора было уж ей разориться еще на одну «лампадку». Неуловимым его жест был лишь для нас, сидевших на печи. Мать каким-то образом его схватывала и, вздохнув «разорялась» – наливала из четверти еще полстакана. А под конец, видя, что ее гостечек уже поклеывает покрасневшим до синевы носом и плохо управляется с собственным языком, говорила ему: «А не пора ли тебе, Андреич, домой? Там, поди, заждались. А то полезай вон к ребятишкам на печку, погрейся, сосни часик!» Последнее устраивало дядю

Сергея больше. С немалыми усилиями оторвав отяжелевшее тело от лавки и расставив для устойчивости толстые ноги, покряхтывая, он медленно подходил к печке. Спрыгнув на пол, Ванька или мой брат Ленька, не меньше нашего любивший слушать дядю Сергея, подталкивал его под зад, а я изо всех сил тянул за руки, и таким образом мы полностью овладевали старым охотником. Нас не огорчало то, что он плел вышедшим из подчинения языком бог знает какую чепуху, ибо вполне устраивало, что знаменитый волчатник находился среди нас и быстро засыпал под музыку своего же невнятного бормотания. Мы знали, что, проснувшись, он попросит у матери на похмелку и, опохмелившись, расскажет еще какую ни то историю из своей богатой на приключения охотничьей жизни.

Ни вьюга, ни лютая стужа, ни метели не могли удержать Сергея Андреевича дома, когда приспеет охота на волка. Время это дядя Сергей определял по каким-то одному ему понятным признакам и приметам. Кажется, начинал расставлять капканы сразу же за Святками, когда заканчивались волчьи свадьбы и отощавшие хищники рыскали в поисках добычи вблизи селений. Нелегкое это дело – определить место для капканов и расставить их в заснеженной степи! Каждый из них весил не меньше трех килограммов, а в общей связке их насчитывалось до дюжины. Расчет у охотника простой: попав в один капкан, метнувшись в сторону, зверь заставит «сработать» и другие и, поскольку какая-то их часть снабжена тяжеленными железными «кошками» – крючками, не сможет уйти далеко от рокового для него места. Загодя сюда привозилась падаль – чья-нибудь подошная лошадь или корова – для приманки. Капканы припорошивались снегом, пропущенным через кроильное решето, присыпались так, чтобы их не было видно волку, и чтобы он не смог учуять прикосновения к ним человеческой руки. И отступал от них дядя Сергей, пятась задом, просеивая перед собой снег, чтобы он был похожим на свежую порошу, а заодно и маскировал следы охотника. И всю эту работу Сергей Андреевич производил один. Сын его, хромоногий Костя, помогал отцу лишь «брат» пойманного волка, и только тогда, когда тот оказывался матерым, особенно хитрым, сильным и свирепым. Не ленился охотник, хотя за целую зиму мог поймать одного, ну, от силы двух волков, – это была уж сверхудача.

Позапрошлой зимой пойманный у Дрофева оврага могучий зверь почему-то потащил капкан не подальше куда-нибудь в степь, а к селу, пробороzdил дорогу в глубоком снегу через все конопляники, сохранил еще силы для того, чтобы перелезть через плетень нашего огорода, и только зацепившиеся за изгородь капканьи «кошки» не пустили его дальше.

Я тотчас же побежал к Ваньке, сообщил ему эту неслыханную новость, и уже вдвоем с ним мы вернулись на наш задний двор, чтобы поглядеть, как отец и сын Звонаревы будут брать матерого. Дрожь заранее сотрясала нас от пяток до макушек, усиливаясь от того, что мы боялись, как бы взрослые не турнули с огорода и не лишили редкого зрелища.

Сергей Андреевич и Костя подъехали на своем вороном жеребце с противоположной стороны наших дворов. Был с ними еще кто-то третий – этот удерживал под уздцы жеребца, который, учуяв волка, уже всхрапывал, настораживал уши, толкал передок санок широченным, раздвоенным задом и несколько раз подымался на дыбки. Мой отец и старшие братья, Санька и Ленька, мы с Ванькой за их спинами гурьбою направились к дальнему плетню, отгораживающему нашу усадьбу от конопляников, в тот момент, когда там стояли и о чем-то договаривались охотник и его сын. В руках Сергея Андреевича была веревка, а Костя держал наготове не то дерюгу, не то положок. Отстраняющим жестом дядя Сергей дал нам понять, чтобы мы не подходили слишком близко. Но и без этого вся наша артель остановилась на почтительном расстоянии, откуда волк был хорошо виден. Больше всего запомнились и поразили его глаза, не мигаючи вонзившиеся в осторожно подкрадывающегося к нему охотника. В них, этих желтоватых, холодных звериных глазах, жила такая лютая злоба, что мороз пробежал по коже. Под ложечкой у меня что-то екнуло и сорвался невольный крик ужаса, когда я увидел, как хромоногий Костя, подобравшись сзади, набросил на зверя полог и вмиг оседлал его, мертвою хваткой вцепившись в волчьи уши. В ту же минуту дядя Сергей с необыкновенным проворством, в два прыжка, подскочил к разверстой и клацающей клыками звериной морде и в nepocтижимо малое время скрутил ее веревкою, а потом, уже вместе с сыном, другим, длинным концом этой же веревки они стреножили волка и понесли к саням. Когда и как высвободили его ногу от капкана, я не заметил. Помню, испугался, когда увидел, как жеребец бился в оглоблях, ржал, готовый разнести всех и вся вдребезги, и как он помчался от нашего огорода со своим крайне нежелательным «седоком».

Прежде чем убить зверя, снять с него шкуру и сдать в район за соответствующее вознаграждение, Сергей Андреевич устраивал для односельчан большой праздник, похожий на тот, какой устраивает бродячий цирк, водя по деревенским улицам дрессированного медведя. Только вместо медведя дядя Сергей водил по Монастырскому волка, дрессированного одной лишь природой, которая предписывала ему поедать наших овечек и пугать нас, человеческих детенышей. Поскольку серый был неучем, то челюсти его со страшными, волчьими, клыками были надежно укрощены палкой и толстым

шнурком.

Веселый охотник не просто водил свою жертву по селу, но еще и сыпал прибаутками, выкрикивал, приговаривал, обращаясь к мужикам и бабам, толпами сгрудившимся у всех дворов:

– Э-эгей, Степашок!.. Узнаешь старого знакомого!.. Эт ить он самый... какой прошлой осенью твою бычка на Малых гумнах подвалил!..

Или:

– Акулина, кума дорогая!.. Ставь-ка, матушка, на стол четверть – ужо загляну. Поскупишься – отпущу, и он последнюю ярчонку из вашего дырявого хлева утащит!

Или:

– Дедушка Ничей! И ты, старый хрен, выполз?.. Не сиделось тебе на печке... Аль забыл, как позапрошлой зимой, повстречавшись в Салтыковском лесу вот с этим сукиным сыном, ты наклал полные штаны? Ха-ха-ха!

Или:

– Матрена Дивеевна, убралась бы ты подобру-поздорову в свою хибару! Глянь, как он косится на тебя. Не ровен час, сорвется с моих вожжей. Ты ить яловая – вон сколько мясов и спереду, и сзади!

Или:

– Василь Митрич, председатель наш любезный! И ты, голубь сизый, не усидел в своей конторе, на вытерпел, стало быть... А кто стращал меня каталажкой за недоимки? Не ты ли? Ну да Бог с тобой! Гляди на здоровье. Сергей Андреич Звонарев не жадный – бесплатно показывает вам свой цирк, не то что другие протчие...

Или:

– Карп Иваныч! – особенно громко и радостно оглашалась улица хриплым, простуженным и пропитым голосом дяди Сергея, завидевшего возле самой захудалой, наполовину раскрытой, пугающей прохожих обнаженными ребрами стропил избенки ее хозяина – Карпушку Котунова, славившегося на весь район своим виртуозным враньем. – Погляди, погляди, родимай! Опосля ты такую сказку сочинишь, какой отродясь никто не слыхивал!.. Только ширинку-то застегнул бы, отморозишь струмент – Маланья выгонит из дому!..

Сергей Андреевич, перекинув веревочную вожжу через плечо, вел почти не сопротивлявшегося лесного разбойника посреди улицы, а с правой и левой ее сторон накатывались крутые волны хохота, улюлюканья, восторженной матерщины, пугливого бабьего взвизгивания и откровенно трусливого собачьего, с плаксивыми нотками, бреха. Правда, один пес, расхрабрившись, подбежал к зверю вплотную, норовя схватить его за ляжку или упрятанный на такой вот случай между задних ног хвост, но тут же воющим шаром откатился прочь, натолкнувшись на холодный, исполненный достоинства и молчаливого презрения волчий взгляд.

Два моих дружка, Ванька Жуков и Гринька Музыкин, попытались последовать примеру «отважного» пса, но повернули свои «оглобли» в сторону от зверя гораздо раньше, чем Полкан. Потом, смущенно хлюпая носами, спрятались за спинами взрослых, схоронив заодно и свой стыд. Однако это был все-таки подвиг: никто из нас не решился бы выскочить из толпы и добежать почти до середины улицы, а Ванька с Гринькой решились.

Да, Ванька... С ним хорошо было во все времена года, а зимою, может быть, в особенности. Ну а теперь? С кем по перволедку сделать «зыбку»? Не с Минькой же Архиповым? Да его мать, тетенька Дарья, или Дашуха, как ее кликали соседки и называл муж, веселый и такой же, как она, чадолюбивый Петр Афанасьевич, – женщина эта разразилась бы по моему адресу проклятиями, а то и остегала бы вожжами за то, что я увлек ее ненаглядного сыночка на смертельно опасное дело. Можно бы, конечно, позвать на реку Гриньку Музыкина, этот не отказался бы, но будет ли с ним так же интересно и весело, как с Ванькой Жуковым? Да и отпустит ли его мать, когда у нее на двух сыновей и двух дочерей были одни валенки и одна драная шубейка? О Яньке Рубцове, Петеньке Денисове-Утопленнике, Кольке Полякове и говорить нечего: с началом зимы их обували и одевали кое-как, лишь для того, чтобы ребята сходили в школу. В остальное время одежонку и обувчонку родители прятали до следующего утра, – так что все эти мои дружки-приятели принуждены были

сидеть дома и довольствоваться созерцанием уличной жизни через крохотные глазки, проделанные и поддерживаемые языком и собственным дыханием в замерзших, угрюмо насупившихся окошках. По той же причине, а также по замкнутости своего характера не мог выйти на молодой, прозрачный ледок и Миша Тверской, мой тезка и мой новый покровитель. И на лесные болота без Ваньки и без его топорика не пойдешь. И про Чаадаевскую гору придется забыть, потому как она подымалась сразу же за Хутором, за Большими гумнами, то есть во владениях Ваньки и его дружины, да я и не отважился бы кататься с нее один. И охота на зайцев прекратится – без Ваньки что же это за охота! И в пионерский барабан Ванька, назначенный, ко всеобщей нашей зависти, Марией Ивановной главным барабанщиком, не даст мне постучать, и песню про красного барабанщика, который «проснулся, повернулся – всех буржуев разогнал», и про сражение «на валу мировых баррикад» не с кем будет петь, – с Ванькой это получалось здорово. Да еще про Стеньку Разина, про колодников звонкие цепи, которые «взметали дорожную пыль». Уж очень хорошо у нас получалось, когда, подхватив припев, мы заливались:

«...Динь-бом, динь-бом» —

Слышен звон кандалный.

«Динь-бом, динь-бом» —

Путь сибирский дальний.

«Динь-бом, динь-бом»

Слышно там и тут:

Нашего товарища

На каторгу ведут.

Мы пели это, и порой не без слезы на глазах, потому что ужасно было жаль товарищей, которых вели на каторгу.

Не шибко верившие в Бога, мы, однако, любили религиозные праздники – Пасху и Рождество в первую очередь. На Рождество ходили с Ванькой славить Христа; загодя составляли в своем уме маршрут так, чтобы ни один двор не был обойден нами, чтобы побольше «наславить» кренделей, конфет и медяков. Для того чтобы подняться пораньше и упредить других славильщиков, Ванька приходил к нам с ночевкой. Подымались мы ни свет ни заря и отправлялись в путь, начиная

с Хутора и завершая, уже при дневном свете, в Непочетовке или в нашем порядке. Молитву «Рождество Твое, Христе, Боже наш» исполнял я один, а Ванька, который вообще был не силен в разучивании стихотворных текстов, разевал лишь рот, имитируя пение. Однажды на полпути, где-то на Садовой улице, неизвестный здоровенный парень (не Самонька ли?) накрыл нас обоих шубой, чиркнул ножичком по бечевке, и крендели высыпались на снег, сделавшись добычей этого неведомого разбойника с большой дороги. Поплакав немного, мы пошли дальше и домой все-таки явились с огромным богатством: у каждого связка, а в карманах конфеты-пышечки и конфеты с махром, чрезвычайно ценимые нами, а в самых надежных местах затаились медные копейки, семишники и даже пятаки, мне же кто-то (сдается, что это был дядя Иван Морозов или дядя Сергей Звонарев, кто-то из них) сунул (украдкой от жены, должно быть) беленькую, оказавшуюся гривенником.

Славить Христа на Рождество я, конечно, пойду и без Ваньки – попрошусь в напарники к брату Ленке, но Хутор придется оставить другим ребятишкам, туда нам ходу нет, а ведь именно на Хуторе славильщиков по большей части одаривали не самодельными, ржаными какими-то там кренделями, а фабричными, румяно-белыми, с атласно блестящей корочкой, потому что хуторяне были чуток побогаче других своих односельчан, их не сравнишь с непочетовскими...

Что поделаешь?

От многого приходилось отказываться. От многого такого, что было бесконечно дорого твоему сердцу, что откладывается в памяти на всю жизнь теплыми и светлыми зернами и прорастает, расцветая время от времени на лице такую же теплой и светлой улыбкой даже в минуты совсем не светлые.

6

Что-то неладное заметил наш мудрый Кот и в классах – они располагались в двух больших комнатах. Иван Павлович и Мария Ивановна ухитрились укладываться в одну смену, проводя занятия одновременно с двумя классами, меняясь ими в зависимости от расписания уроков: арифметику давал учитель, русский язык – учительница. Неладным же было то, что за многими партами хотя

и сидели все те же ученики, но они решительно не были похожи на самих себя вчерашних, тех, что из солидарности со своим соседом готовы были остаться без обеда, стараясь выручить, подсказывали ему отчаянно, а теперь выглядели сущими волчатами, отвернувшими друг от друга злые мордочки.

Иван Павлович, конечно, понял, отчего это происходит, понял и то, что такое положение вещей нельзя считать нормальным, что оно неизбежно отразится на успеваемости учеников отнюдь не в сторону ее повышения, если не принять быстрых и энергичных мер. Он видел, что по-прежнему тихо-мирно было лишь за партами, где сидели мальчики с девочками да мы с Мишей Тверсковым (условившись заранее, я вошел в класс задолго до звонка и угнездилился на новом для меня месте).

Нет, однако, худа без добра, Иван Павлович давно планировал перемешать девчат с мальчишками, рассчитывая, что первые окажут дисциплинирующее влияние на последних. Жизнь сама поторопила ввести в действие этот план. Первые сорок пять минут ушли на то, чтобы совершить этот хоть и бескровный, но далеко не легкий переворот: хуторские девчонки не хотели сидеть с мальчишками из Непочетовки, а непочетовские – с хуторскими. Покорились они лишь тогда, когда Иван Павлович пригрозил употребить власть вплоть до применения высшей меры наказания – исключения из школы.

Девочки поплакали, но быстро утешились, когда увидели, что мои и Ванькины уличные друзья вели себя по-рыцарски, не дергали за косички, не шпыняли, не брызгали чернилами на их тетради, а напротив, были готовы в любую минуту взять под защиту напарницу, ежели кому-то вздумается обидеть ее. Кто знает, почему так случилось? Думается, что и сам Иван Павлович не рассчитывал на такой поразительно быстрый положительный результат революции, произведенной сверху. Не жило ли во всех нас тайно, подспудно томительное, беспокоящее желание примирения, и дорогу к нему мы подсознательно искали через этих девчонок, которые доводились либо сестрами, либо близкими родственницами драчунам? Может быть, и так. Факт же оставался фактом: в школе, к великой радости учителей, в особенности Марии Ивановны, воцарился порядок куда больший, чем он был до знаменитой потасовки.

Впрочем, я-то некоторое время продолжал посещать школу в немалой тревоге – боялся, как бы Иван Павлович не добрался и до меня и не перевел за парту к Катьке Лесновой, озорнувшей девчонке с Хутора, которая по драчливости не только не уступала мальчишкам, но и превосходила их. Пока что Катька болела

корью, находилась дома, и за ее партой сидела Марфа Ефремова, соседка Каткина и подруга. К ней Иван Петрович покамест никого не подсаживал: ожидал, верно, когда выздоровеет и придет в школу Леонова. Какая из них достанется мне и какая Мише Тверскову – вот вопрос, который не давал мне покоя. Видя это, Миша по дороге из школы уверял меня:

– Ты не бойся. Я все одно буду с тобой. Хошь, летом буду ночевать на вашей повети?

– Ну! – оживился я, употребив это «ну» в смысле утвердительного «да», как это делается и в нашем, и во многих других российских селах и деревнях.

Поощренный моим решительным согласием, Миша Тверсков пошел еще дальше:

– А хошь, я и зимой иногда буду оставаться у тебя на всю, ну, совсем на всю – на всю ночь? А?

– А то рази! Конешное дело, хочу. Только, Миш, у меня нет кровати...

– Ну и што? На полу будем спать. Постелим плавки[2 - Плавкою у нас называли ржаную солому, обмолоченную цепами.] – и все!

– Вот здорово! А когда ты придешь к нам с ночевкой?

– Хошь, нынче же и приду!

И он действительно пришел, а потом оставался ночевать у нас все чаще и чаще. Теперь мамина шуба, заменявшая нам одеяло, должна была укрывать не троих, а четверых: я и Миша Тверсков лежали посередке, а братья мои, Санька и Ленька, по краям. К утру, когда изба выстуживалась, бедняги тянули шубу каждый к себе, потому что то спина, то пузо оказывались у них открытыми и зябли. Нам же с Мишой было тепло: согретые собственными телами, мы еще грелись и от старших моих братьев, которые стоически терпели и вели тихую, бесшумную войну за края маминой шубы, годами как бы уменьшающуюся в размере, подобно шагреновой коже. Санька и Ленька могли бы сказать мне, чтобы я избавил их от моего нового друга, но они не сделали этого, потому что понимали, что я очень страдаю и ищу себе товарища, который хоть в какой-то

степени мог заменить Ваньку Жукова. Дело было поправлено тем, что папанька, расщедрившись или же скрепя сердце, ссудил нам казенный сельсоветовский тулуп, в который одевался во время частых выездов в район, за семнадцать верст от Монастырского.

Под тулупом мы все четверо прямо-таки блаженствовали – под ним было так хорошо, тепло и уютно, что даже жалко было засыпать, и мы долго не засыпали, а рассказывали друг другу страшные сказки или (мы с Мишкой) заучивали наизусть новое стихотворение, экзаменуя друг друга. Только и слышалось сперва тихое, а потом вышедшее из-под контроля, все усиливающееся: «У лесной опушки домик небольшой, в нем давно когда-то жил лесник седой», или «Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек», или «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел...», а никитинское «Тянут, тянут!» – закричали ребяташки вдруг» мы уже оралы во всю силу легких, потому что рыбная ловля была не только любимейшим нашим занятием, но и зрелищем тоже (особенно когда старшие ловят рыбу в Кочках бреднем или неводом), – нетерпеливое, с дрожью в коленках и счастливым холодком под сердцем ожидание улова, что может сравниться с ним по солнечной радости?! Иногда нас останавливал Санька, но чаще всего моя мать. Приоткрыв дверь в переднюю, она просила: «Вы бы маленько потише, ребяташки. Отца разбудите, да и Насте не даете заснуть!»

Тепло покидало нас вместе с тулупом, когда отец отправлялся на целую неделю с извозом в Саратов или на двое-трое суток к другу-мельнику. Но мы не особенно тужили: отсутствие тепла с лихвою восполняли тем, что чуть не всю ночь напролет болтали, пели песни и громко декламировали стихи. Могли бы еще читать книжки, и тоже всю ночь напролет (к ним меня прирастил Миша Тверсков), но мать не разрешала. «Где я возьму такую пропасть гасу? – говорила она, увертывая в лампе фитиль все ниже и ниже, пока он не угасал вовсе. – Жбан-то, вон, пустой. Какую уж неделю не привозят в кооперацию!»

Во время вечерних и ночных наших бдений Миша Тверсков значительно подтянул меня по части арифметики. Меня уж не пугали задания, выразившиеся в лаконичной формуле Ивана Павловича: «Кто решит – тот домой». Решал примеры самостоятельно – ну, не первым, скажем, но и не последним. Когда пришла, по выздоровлении, Катька Леонова и Кот, не раздумывая, усадил меня рядом с нею, а Мишу Тверскова – с Марфой Ефремовой, я огорчился, конечно, но не очень. Потому, во-первых, что уже не нуждался в чужих подсказках, и во-вторых, потому, что Миша Тверсков после этого не только не отдалился от меня,

но еще больше приблизился: проводил со мною, почесть, все и послешкольные часы. Я чувствовал, что сильно привязался к нему. Будь он хоть на капельку поживее, позабавнее, поозорнее, наконец, – цены б ему не было!

Катька Леонова усвоила в отношении меня мало устраивающее снисходительно-насмешливое поведение.

Зная, как опасно мне появляться на Хуторе, она часто подзадоривала, играя на моем самолюбии:

– А вот не проводишь меня на Леонову улицу! (Улица называлась так, потому что ее открывал дом Ивана Леонова, Катькиного отца, едва ли не первым поселившегося на Хуторе.) Что, слабо?.. Трус, трус! – подпрыгивая и хлопая в ладоши, кричала она, обжигая озорным блеском своих узких зеленых глаз.

Однажды я согласился и проводил Катьку до ее дома, но на пути к своему был перехвачен Ванькой Жуковым и Васькой Мягковым, которые сейчас же принялись меня колотить. И, верно, отколотили бы почем зря, если б не Катька. Она выскочила из дому с палкой и принялась охаживать моих обидчиков с такой яростной силой, что те ударились в бега, а я еще прытче их подался в сторону Непочетовки, поближе к своему дому. Ежели, думал я, удирая, они погонятся за мною, то я кликну Леньку, и преследователи отстанут. Но они не погнались.

На следующий день в школе, во время большой перемены, Катька Леонова чуть ли не под присягой поклялась оборонять меня от Ваньки Жукова и его дружков (позже я узнал, что они действительно боялись ее). Я был тронут Катькиным благородством, но во все другие дни старался делать так, чтобы как можно реже пользоваться ее клятвенным обещанием. Не к лицу мальчишке вставать под девчоночью защиту.

Ванька Жуков сидел за одной партой с Дуняшкой, Кольки Полякова сестрой, оставленной строгим Котом в этом классе на второй год, – сидел по левую руку от меня, и нас разделял только узкий проход, по которому обычно прогуливается учитель или учительница во время уроков. Это было так близко, что любой из нас мог бы дотронуться друг до друга. Но мы не дотрагивались и только украдкой, не в силах совладать с собой, скашивали глаза – то он в мою сторону, то я в его. Иногда встречались взглядами и мгновенно отводили их, сердито насупившись. Исподтишка показывали один другому кулаки, маскируя то, что в

действительности было на душе у каждого из нас. А было там (только не хотелось открыто признаться в этом) жгучее, томящее желание вернуть себе друг дружку.

И чтобы не дать этому тайному чувству разрастись и сделаться явным, я заставлял себя вспомнить тот момент, когда Ванька ни с того ни с сего боднул меня своей головой. В этом-то «ни с того ни с сего» и была «вся штука», как сказал бы мой отец. Ссора наша давно бы окончилась счастливым примирением, если бы один из нас хоть в малой степени полагал себя виноватым, – в конце концов, смилив собственную гордыню, он признался бы в этом, попросил прощения и, жизнь ребятишек, как это чаще всего и бывает, вернулась бы на прежнюю дружескую колею. В нашем же случае ни Ванька, ни я ни на капельку не считали себя виновными в разыгравшейся драме, а напротив, находили, что были обижены ни за что ни про что, и по этой причине обида оказалась особенно острой и живучей, засела слишком глубоко, чтобы можно было от нее легко избавиться. Если жажда примирения и жила подспудно в нас, то как бы параллельно с чувством большой незаслуженной обиды, жила и припекала под ложечкой так больно потому, что мы стеснялись отворить дверь и дать ей выход на волю. Продолжающиеся уличные стычки мало способствовали тому, чтобы эта жажда была утолена, – они только подливали масла в огонь, «работая» на незатихающее чувство обиды.

В школе хоть и воцарился порядок, но для нас, учеников, он вряд ли был радостным. Вроде серого облака опустилось что-то над всеми нами. Переменки – даже сделались менее шумными, не вырастали, как прежде, там и сям веселые кучи малы, девчонки не играли в свои «салочки», а ежели и начинали такую игру, то почему-то быстро прекращали ее и, поскучнев, уходили в класс до звонка, чего уж никогда раньше не было. И мальчишки не гонялись за ними, не дергали, выказывая знаки особого расположения, за платья и волосы. Ребята с улиц, тяготеющих к Непочетовке и Хутору, разделялись на отдельные группы, всем своим видом стараясь показать полное презрение друг к другу, и не затевали драк только потому, что боялись крутых мер со стороны Ивана Павловича и родителей (недавняя порка была еще свежа в памяти).

Общее оживление и веселье, на короткое время как бы примирявшее всех, наступало лишь тогда, когда в класс, не стучась, вваливался пьяненький дядя Ваня – бывший матрос Российского торгового флота Иван Гаврилович Варламов. Не было, пожалуй, на нашей планете страны, в которой бы он не побывал, и не было такого «морья-окияна», по какому бы он не плавал. Голова дяди Вани была

битком набита разными впечатлениями от этих путешествий, они давили тяжким грузом на самую голову и на просторную, в общем-то, вместительную душу его. Стоило ли удивляться тому, что от времени до времени дядя Ваня испытывал потребность переложить часть этого груза в наши далеко не заполненные черепные коробки.

Хоть и пребывал во хмелю, но приноравливал дядя Ваня свое появление в классе к моменту, когда в нем вела урок Мария Ивановна, но не Иван Петрович, которого старый морской волк побаивался не меньше нашего. Завидя непрошеного гостя, учительница сперва бледнела, затем краснела и, ахнув, покидала класс – убегала за помощью. Дяде Ване только того и нужно было. Взъерошив свои курчавые, редеющие, прошитые белыми нитками седины волосы и сверкая влажными цыганскими глазами, он приступал к «лекции».

«Ребятишки, детушки мои милый!» – сказав эти слова, Иван Гаврилович проходил к месту, на коем полагалось стоять учителю, и, помолчав для порядку, окинув наши светящиеся в ожидании потехи лица многозначительным взглядом, начинал нести такую околесицу, что класс покатывался со смеху, а Ванька Жуков и Гринька Музыкин, забыв, что состояли в ссоре, бежали прямо по партам к «лехтору», повисали у него на плечах и просили покрутить.

Дядя Ваня умолкал, подхватывал озорников под мышки и начинал вращать их, сам вращаясь вокруг своей не шибко устойчивой оси. На третьем или четвертом круге матрос рушился на пол, Ванька и Гринька на него, мы чуть ли не всем классом (исключая девочек) – на них, и вырастала такая куча мала, какой нам одним ни разу не удавалось воздвигнуть. Это уже была не куча мала, а прямо-таки Большой Мар, возвышающийся за Правиковым прудом посреди полей и видимый далеко отовсюду. В отличие от степного, наш курган не безмолвствовал, а гудел, ревел, стонал, визжал и, разумеется, не вдруг воспринимал гневный голос Ивана Павловича, туча тучей врывавшегося в класс. Сначала его слышали ученики, которые находились на макушке кургана, завершали, так сказать, его. Испугавшись, они стремительно скатывались к подножию живой горы, подобно снежному обвалу. Вслед за ними слой за слоем отлеплялись друг от друга остальные и пулей проносились мимо Кота к своим партам. В одну минуту куча мала растворялась. На том месте, где она только что возвышалась и извергала из себя вулканическую лаву вопля, находился лишь несчастный дядя Ваня во всем своем великолепии. Порядочно помятый нашими коленками, он не сразу подымался на ноги, а какое-то время стоял на четвереньках, то есть пребывал в позе, вызывавшей в нас приступы нового

смеха, и только потом, с помощью Ваньки Жукова и Гриньки Музыкина, главных виновников его конфуза, принимал подобающее человеку вертикальное положение.

Встретившись с острым, как бритвенное лезвие, взглядом Ивана Павловича, дядя Ваня виновато опускал перед ним голову – так, что ее клинообразный подбородок с порослью реденьких седых волосинок упирался в плоскую тощую грудь, лишь местами прикрывавшуюся дырявой, полуистлевшей тельняшкой.

– И вам не стыдно, Иван Гаврилович? – спрашивал учитель, убедившись, что уже достаточно поистязал бывалого моряка своими глазами. – Пожилой вы человек, хотя бы постеснялись своих сыновей! Они ведь тоже в классе, глядят сейчас на вас. Посмотрите, как им стыдно за своего папашу!

Близнецы Ивана Гавриловича находились в классе, но мы не видели, чтобы им было очень уж стыдно за отца. Во всяком случае, в сотворении кучи малы над ним они принимали самое что ни на есть активное участие.

– Прости старого дурака, Иван Палыч. Окаянный, знать, попутал, – отвечал дядя Ваня, трезвея прямо на наших глазах.

– Не окаянный, а змий. И зеленый притом, – поправлял его Кот, лукаво поигрывая глазами.

– Оно, можа, и так, – соглашался дядя Ваня, который вовсе был не старым по годам, но выглядел пожилым потому, что очень рано и энергично начал бороться с собственным здоровьем. Близкое знакомство с зеленым змием никого еще не омолаживало: это уж известно. Таверны в иностранных портах оказались самым подходящим местом для такого знакомства, ибо на протяжении столетий были постоянными прибежищами разноплеменной и разноязыкой матросни.

– Ну вот что, голубчик, – предупреждал Иван Павлович, – чтобы это было в последний раз. Избавьте ради всего святого школу от ваших лекций. Мы уж как-нибудь обойдемся и без них. Так что, пожалуйста, не затрудняйте себя. А заявите еще – пеняйте на свою голову. Товарища Завгороднева позову – он-то уж найдет на вас управу.

– Ни в жисть не появлюсь. Вот те крест! – И дядя Ваня истоиво осенял себя крестным знамением: ему вовсе не хотелось встречаться с товарищем Завгородневым, бессменным после Гражданской войны участковым милиционером, хорошо исполнявшим свои обязанности. – Меня теперича суда и силком не затащишь! – заверял «лехтор» еще горячей.

– Ну-ну. Ступайте!

– Ухожу, ухожу! – говорил напоследок дядя Ваня, направляясь к двери. – Больше ни в жисть...

– Сделайте одолжение! – примирительно говорил Кот, подталкивая потихоньку гостя к выходу.

– Ни в жисть! – громко возвещал дядя Ваня уже на улице, а неделей позже как ни в чем не бывало объявлялся вновь, и веселое действие повторялось, к нашей великой радости и к великому огорчению наших учителей.

Иван Павлович Наумов уж всерьез подумывал, а не покликать ли в самом деле Завгороднева.

7

Спровадив добровольного «пропагандиста-агитатора», Иван Павлович обычно долго не мог прийти в себя, успокоиться и продолжать занятия. Свой гнев, не имея перед собой никого другого, переносил либо на учеников, либо на Марию Ивановну, которая не смогла справиться с пьяным мужиком одна и отрывала от уроков его, Ивана Павловича. Нас за буйное поведение всем классом оставлял без обеда; и ежели мы, ребяташки, принимали это как должное, вполне заслуженное нами, то этого нельзя было сказать о старой учительнице. Глубоко оскорбленная (мы, правда, не видели, где и как) мужем, она, прежде чем войти в класс, задерживалась за дверью, стояла там, стараясь взять себя в руки и появиться перед учениками прежнею, то есть спокойной, со своей тихой, располагающей улыбкой. И все-таки мы видели на ее лице, под глазами и в самих глазах следы слез.

Но в тот день, о котором только что рассказано, Иван Павлович вел себя совершенно по-иному. Гнев его улетучился раньше срока, сменившись веселым оживлением на обыкновенно строгом и суховатом лице сразу же, как только захлопнулась дверь за дядей Ваней. И мы видели, что Иван Павлович собирается сообщить нам нечто такое, от чего нельзя не прийти в самое доброе и веселое расположение духа. Для такого торжественного случая он попросил немного удивленную Марию Ивановну пригласить в нашу комнату учеников третьего и четвертого классов и, когда те шумно ввалились и расселись за парты, сильно потеснив их хозяев, то есть нас, объявил, потребовав полной тишины:

– Ну-с, ребята. Теперь слушайте: районо и райисполком вынесли наконец решение в течение двух лет построить у нас новую школу...

– Ура-а-а!.. Вот здорово-о-о!

– погоди, Жуков. Я еще не все сказал. Это будет Ша-Ка-Эм! Ну-с а сейчас потрудитесь расшифровать три эти буквы: ШКМ. Ну-с? Кто же первый? Что-то не вижу охотников. Музыкин Гриша, может, ты? А? И ты помалкиваешь. А вообще-то, на другие дела весьма боек. Что ж, начнем с первой буквы – Ш. Что может она означать? Ну, где мы с вами сейчас находимся?

– Школа, школа! – заорали хором.

– Ну, разумеется. Перейдем к К. Неужели не догадываетесь? Хорошо. Скажите, чем занимаются ваши родители?

– Пашут землю! – выкрикнул Ванька и взглянул почему-то на меня.

– Верно. Землепашцы, стало быть. А как еще их называют?

– Крестьяне! – взревели мы еще громче.

– Какая же будет у нас школа?

– Крестьянская! – радостно выдохнул класс.

– И так, осталась нерасшифрованной одна буква М. И я уже не буду больше мучить вас, а скажу, что за этой буквой скрывается слово «молодежная». Сложим все три слова – что получится? Ну, ну, Алексеев Миша. Ну-те-ка!

Запинаясь от волнения и не замечая того, что скашиваю глаз на Ваньку точно так же, как давеча он на меня, я проорал настолько громко, что сам испугался своего голоса:

– Школа-а-а!.. Крестьянско-о-ой!.. Мо-ло-де-жи!

– Ша – Ка – Эм! – подвел черту учитель, следуя моей интонации. Непривычно сияющий и счастливый, он продолжал: – Но и это еще не все. В новой школе вы будете учиться не четыре зимы, а семь, потому что она будет называться семилеткой...

Девочки взвизгнули и захлопали в ладошки, но не были поддержаны мальчишками: похоже, семилетнее пребывание перед строгими, всевидящими очами пронизательного Кота устраивало далеко не всех. Самонька и мой брат Ленька не смогли даже удержать в себе судорожного тяжкого вздоха. Четыре-то зимы были для них почти непреодолимым рубежом, а тут к ним прибавятся еще три, – это уж слишком. Пригорюнились, сникли и Ванька Жуков с Гринькой Музыкиным, встретившие было сообщение о новой школе восторженным «ура». Им тоже дорога была волюшка. На четыре зимы они соглашались (так уж и быть!) пожертвовать ею, но не более того.

Я и Миша Тверсков хоть и обрадовались последним словам Ивана Павловича, но вслух не выразили этой радости – боялись впасть в немилость других ребят.

Иван Павлович сделал вид, что не замечает смятения в некоторых душах, и продолжал еще торжественнее:

– Это будет первая сельская школа-семилетка в нашем районе, ребята, и строительство ее начнется уже в нынешнем году, весной, когда окончатся наши с вами занятия, а ваши родители отсеются. Без их и нашей с вами помощи школу не построить. Всем селом навалимся, и новая школа будет построена. Завтра, ребята, к нам приедут товарищи из Баланды вместе с архитектором и прорабом, чтобы помочь отыскать лучшее место для нового здания...

На другой день Ивану Павловичу и Марии Ивановне нелегко было удержать учеников в классах. Оставив парты, мы липли к окошкам и видели, как неподалеку от православной церкви (в Монастырском была еще церковь старообрядческая, кулугурская, и молельня, которую построил для себя богатенький клан из десяти – двенадцати семей, носящих фамилию Ефремовы), на пустыре, увязая в глубоком снегу, из-под которого высывались озябшие головки татарника, прохаживались, энергично жестикулируя, незнакомые нам люди.

Видя, что с нами не совладать, Иван Павлович отпустил нас раньше времени, а сам присоединился к товарищам из района. Вышли к ним и сельсоветские чины: Михаил Сорокин, недавно избранный председателем вместо Василия Дмитриевича Маслова, и мой отец, секретарь. Мы двумя разорванными полукружьями стояли поодаль и наблюдали. Разрыв в круге образовался оттого, что вне школы драчуны автоматически, без всякой команды с чьей-либо стороны, расходились по разные стороны невидимых баррикад. И не начинали сражения только потому, что были слишком увлечены наблюдением за взрослыми, которые с приходом Ивана Павловича и сельсоветских руководителей затеяли горячий спор, суть которого прояснилась для нас гораздо позже, поскольку не осталась бесследной.

Один из незнакомых был до того высок и тучен, что все остальные мужики, в особенности мой отец и Иван Павлович, споривший, кажется, горячее всех, казались сущими детьми. И я был страшно удивлен, когда вечером отец привел эту громадину в наш дом, в котором сразу же стало тесно.

Это был прораб Муратов, не то осетин, не то аварец. С Кавказа, одним словом. Как оказался он в наших краях, одному, знать, ему да его Аллаху ведомо. Но что бы там ни случилось с этим человеком, объявился он как нельзя кстати. Скоро выяснилось, что Муратов обладал не только богатырской физической силой (весною на лужайке против нашего дома, состязаясь на палке, он легко отрывал от земли сразу четырех мужиков), но и прекрасными организаторскими способностями, подкрепив их великолепным знанием дела. Деятельность, которую он развернул с небольшим строительным отрядом кавказцев сразу же по прибытии, была действительно бешеной – по-другому ее не назовешь, ежели иметь в виду, что рабочий день Муратова, насыщенный до чрезвычайности, оканчивался уже сверхнасыщенной гульбой в компании старых и новообретенных собутыльников, сгруппировавшихся вокруг него в немыслимо короткий срок. Не обладая его огнеупорной мощью, мужички наши (в их числе

был, конечно, и папанька) быстро пьянели и встречали утреннюю зарю под чьим-нибудь чужим столом, за которым восседал и продолжал угощаться один «вэлыкый прарап», как называл себя Муратов в минуты веселого застолья.

Он никогда и никому не рассказывал о своем прошлом, о том, кто он есть и откуда взялся. Можно только предположить, что до появления в наших краях Муратов занимал видное место на какой-нибудь строительной площадке, какие возникали в ту пору и множились по всем городам и весям; страна жила предчувствием великого рывка вперед и уже была полна дерзкими планами легендарных пятилеток.

8

Вот кому еще в чужом пиру досталось одно похмелье – это нашим верным псам, моему Жулику и Ванькиному Полкану. Ничего не подозревая поначалу, они какое-то время по старой привычке продолжали «гащивать» друг у друга, пока их не угостили так, что Жулик вернулся домой на трех ногах, а Полкан хоть и на всех четырех, но сильно охромевших. Зализавши полученные раны и исцелившись, собаки скоро сообразили, в чем тут дело, и, не долго думая, затеяли яростные драки между собой, при этом рвали друг дружку так, что на месте схватки Полкан оставлял клочья белой своей шерсти, а Жулик – черной. Затем, как им и полагалось, Жулик и Полкан стали помогать молодым хозяевам, когда между ними начиналась очередная драка, отчего наша одежда нередко страдала, что, конечно, было горше всего. Увидя как-то, что с тыльной стороны мой полушубок располосован сверху донизу, отец сперва высек меня, а потом учинил допрос, выясняя, где и кто меня так разделал. Выяснив наконец (хотя я долго держался, не выдавая Полкана), пришел прямо к Жуковым и строго-настрого предупредил главу семейства:

– Ну, вот что, Григорий, я долго терпел... А теперь с меня хватит, довольно... Или ты сам повесишь своего паршивого пса и выпорешь как следует Ваньку, или это же самое сделаю за тебя я!..

– Што-што?... – Григорий Яковлевич побагровел. – Ишь ты какой ретивый!.. Ежели ты торчишь в сельском Совете, так думаешь, што тебе все и дозволено?.. А вот этого не хочешь? – И, быстро приблизившись к паланьке, Жуков-старший

поднес к самому его носу обидную фигуру, сотворенную из трех обкуренных пальцев. Небритые щеки его (он был один в избе) недобро взбугрились и заходили. – Попробуй только тронь!.. Ты, што ж, Миколай, думаешь, што у вашего паршивого Жулика зубы не такие же острые?.. Поглядел бы, што он исделал с Ванюшкиными портками!...

– Ты хочешь сказать, что теперь мы квиты? – Папанька усмехнулся в свои рыжие усы, упрятав заодно в них и свою неловкость.

– Это самое я и хотел сказать, – подтвердил Григорий Яковлевич, медленно остывая.

– Ну и шкеты, прибавили нам заботушки! – сказал мой отец, идя на попятную.

– Невелика печаль. Пороть их надо почаще. Сказав это, хозяин дома отошел к печке, отдернул над судной лавкой занавесь, где у него стояла опорожненная лишь на одну треть литровая посудина:

– Давай-ка, Миколай, поправимся маненько. Ты, я вижу, с похмелья.

– Был грех. Вчерась с мельником, – признался отец, подсаживаясь к столу и лаская глазами наполняемый мутноватой жидкостью граненый стакан.

Расстались они вроде бы дружески. Вернувшись домой, отец подбросил мне еще парочку «горячих» и спокойно отправился на службу. И уже там, в конторе, изготавливая для Григория Яковлевича какую-то справку, он вдруг нахмурился, поняв со всей очевидностью, что потерпел от него сокрушительное поражение, что поднесенная к самому носу «дуля» пахла не больно хорошо, и была она не что иное, как оскорбление его, секретаря сельского Совета, достоинства. Клацнув по-собачьи зубами, отец в ключья разорвал бумажку, пробормотав вслух: «Хрен тебе, а не справка! Заплатишь еще – ничего с тобой не сделается. Другой раз будешь умнее! Я те покажу такую „дулю“, что век помнить будешь!»

Нехорошие чувства к Жукову возродились вновь и упрятались еще глубже. Оставалось только ждать, где, когда и как эти чувства проявятся. Отраженно они, кажется, уже и проявились.

Приехав однажды на свое гумно за кормами, дядя Петруха, старший брат папаньки, войдя в ригу, заметил что-то неладное. Долго изучал глазами кучу овсяной соломы, которую приберегал к посевной, потому что по питательности она приравнивалась чуть ли не к степному селу. Петру Михайловичу показалось, что куча эта малость поубавилась и оправлена не так аккуратно, как делал он сам. Чьи-то руки «погрелись» возле нее, решил дядя Петруха. И, чтобы окончательно утвердиться в этом, тщательно осмотрел замок. Да, так оно и есть: кто-то ковырялся в замочной скважине гвоздем, это было видно по свежей зазубринке.

«Гришкина работа. Аль его щенков, – ворохнулось в голове, и мужик помертвел от другой мысли, которая пришла сразу же вслед за этой. – А ить они, разбойники, могут и красного петуха подпустить. Свезешь летом снопы на ток, подкрадутся ночью, чирк спичкой – и готово, начнет полахать... Пустят по миру, проклятые...»

Чернее самой черной тучи было теперь на душе веселого, в общем-то, мужика, которого звали тятей не только шестеро его собственных сыновей и дочерей, но и мы, его племянники и племянницы. Свой отец для нас был папанькой, а Петр Михайлович – тятей. Старшие рассказывали, что случилось это в Гражданскую войну. Раненный под Царицыном Петр Михайлович первым из своих братьев вернулся домой. Завидя отца, его ребятишки закричали: «Тятя, тятя пришел!» И поскольку все мы жили тогда под одной дедушкиной крышей, сестра моя и два старших брата, Санька и Ленька, тоже закричали: «Тятя, тятя!» С этой минуты и до самой его смерти (в голодном 33-м году) он и оставался для всех детей общим тятей. У младшего его брата, моего дяди Пашки, дочери родились много позже, но и для них дядя Петруха сделался тятей. Да он и был им если не по крови, то по доброте, по ласковости своего сердца, у которого часто грелись, точно у теплого очага, все мы, его племянники и племянницы.

Теперь же и в этой отзывчивой на чужую боль душе непрошено поселилось дрянное чувство, рожденное недобрым подозрением. Ему бы, разумному и степенному мужику, заглянуть к Жуковым, благо жили они на одном Хуторе, сказать Григорию Яковлевичу, что так, мол, и так, не твои ли ребятишки «пощупали» из озорства мою овсяную солому, и по тому, как отреагировал бы Григорий, все бы прояснилось, так оно или не так. Нет же! Держит человек камень – и не за пазухой держит, а в самом аж сердце, что пострашнее.

Между тем ни Григорий Жуков, ни его сыновья-«разбойники» вовсе и не думали наведываться в чужую ригу, хотя она и стояла на Больших гумнах по соседству с ихней. Овсяную соломку действительно «щупали», но это делали руки не совсем чужие. Они принадлежали плутоватому и избалованному сызмальства дяде Пашке, родному братцу Петра Михайловича, решившему таким способом сэкономить собственный корм, которого по лености своей он заготовил лишь на ползимы. И по иронии судьбы, по злой ее гримасе, о тяжком подозрении (нелегко носить такой груз в душе) дядя Петруха раньше всех поведал не моему отцу, не дедушке Михаиле, не кому-нибудь еще, а именно дяде Пашке, отправившись к нему прямо с Больших гумен.

Тому бы признаться во всем, обратить все в шутку, но он не сделал этого, а только еще глубже вогнал кровоточащую занозу в доброе, бесхитростное сердце старшего брата.

– А кто ж еще? – без малейшего колебания воскликнул чернобородый плут. – Жучкины и есть. Кому еще и быть! Их работа. От них, сволочей, Хутор слезьми исходит. У кого солому, у кого сенца острамок, у кого мякину, у кого еще что, но обязательно утянут с гумна. Это уж известно!

Говоря так, сам дядя Пашка смотрел на Петра Михайловича прямо-таки святыми глазами, а под конец, поместивши на своем грешном челе ловко подделанную картину благородного гнева, сельский этот лицедей совершенно серьезно посоветовал:

– Ну, ты вот что, брательник... Ты энтова Гришку проучи...

– Это как же? – Ясные, как у Иисуса Христа, глаза Петра Михайловича испуганно расширились, воззрившись на Павла.

– А вот так... – И, прежде чем изложить свой план, дядя Пашка принялся медленно сооружать сигарку. Долго разминал на донышке ладони махорку, еще дольше слюнявил бумажку, растягивая время, потому что еще не знал, что должен предложить старшему. Наконец придумал что-то, сунул изготовленную «козью ножку» в рот, переместил ее с помощью языка из левого угла рта в правый, заговорил вновь: – Вот что... Не пожалей гривенника, купи с десятков иголок, наведайся в Гришкину ригу и подбрось их ему в мякину... Тоды посмотрим, как он запоеет...

– Што ты говоришь, мерзавец?! Ты чему это учишь старшего брата, рассукин сын?.. Чего это ты мне насоветовал, а? Да я тебя задушу вот этими самыми... – задыхаясь от бешенства, всегда добрый и уравновешенный, дядя Петруха зверем кинулся на Павла. Тот, однако, успел перехватить его вздетые к потолку руки и сжал их, точно железными тисками, чуть ниже кистей.

Перетрусив, но стараясь не показать этого, проговорил, зло поигрывая насмешливыми своими глазами:

– А ну, охолонь, охолонь!.. Ишь тебя взорвало!.. Ты зачем ко мне пожаловал?.. За советом?.. Ну, так я тебе его дал. Тебе и решать, годится он или нет, – и видя, что «брательник» уже трясется, как в лихорадке, резко повернул все дело на иной лад: – Ну, ну, что взъерепенился?.. Аль слепой? Не видишь – шучу с тобой. Нужен мне твой Гришка! Пущай хоть всю кучу перетаскает из твоей риги – мне наплевать!

– Ну и негодяй! – Петр Михайлович как-то обмяк весь, бессильно опустился на лавку, поглубже заглянул брату в глаза и, тяжело, с хрипом в горле вздохнув, посоветовал в свою очередь: – Ты уж... ты уж того... не шути так боле. Тошнехонько что-то вот тут... – он прижал руку к левой стороне груди, – ... от твоих шуток.

И, горбясь по-стариковски, дядя Петруха вышел из дому.

Ночью ему приснилось: он наведалься-таки на гумно Жукова и высыпал в кучу овсяной его соломы (не мякины, как советовал Павел) целую горсть иголок, а эти иголки, выскочив из соломы, сперва помельтешили, подобно мотылькам, в воздухе под самой крышей риги, а потом одна за другой возвратились к нему обратно и пробрались за пазуху, вонзившись в тело.

Проснулся дядя Петруха от острой боли под левой лопаткой. Лицо его, точно росой, окинулось капельками пота. Спустивши босые ноги с кровати и свесив голову со спутанной бородой, он долго сидел так, а руки дрожали, словно бы только что подняли огромную тяжесть.

На третий день после встречи с моим отцом Григорий Жуков получил из сельсовета извещение о неуплате какого-то налога. Прочитал бумагу несколько раз кряду и, не веря своим глазам, попросил младшего сына, чтобы прочитал

еще и он. Ванька прочел бумагу медленно, с расстановкой, как учила нас Мария Ивановна. Вырвав документ из рук сына, набросив кое-как на плечи полушубок, а на голову кроличий малахай, Григорий Яковлевич помчался в сельский Совет. По дороге репетировал про себя речь, с какою обратится к «этому мошеннику», то есть моему папанышке. Речь, которая хоть и адресовалась должностному лицу, была обильно оснащена словосочетаниями, трудно воспроизводимыми или вовсе не воспроизводимыми на бумаге.

– Ты... ты... что же, мошенник... как... это не уплатил? – заорал Григорий Яковлевич, ворвавшись в «присутствие» и вздымая руки над столом, за которым, уткнувшись в конторскую книгу, трудился мой отец. – Да ить ты сам, мать твою... ты сам получил из моих рук три красных... У меня свидетели есть!.. Как же тебе не стыдно!.. Пропили мои денежки с мельником! ..

– А чего мне стыдиться. Это не я, а ты не уплатил налога, обманул Советскую власть!.. – Отец только теперь поднял глаза на Жукова. – Если б уплатил, у тебя была бы на то справка. Есть она у тебя?.. Нету?

– Ты ж, хохленок, мне ее не выдал! – чуть не плача заорал мужик. – Не выдал, а теперича...

– Кабы уплатил, выдал бы.

– Ну, Миколай, стой... Я этого так не оставлю! Я те... я те... так, твою мать, покажу!

– А вот за то, что угрожаешь властям расправой...

– Какая ты власть! – взорвался Григорий Яковлевич. – Дерьмо ты собачье, а не власть!.. Не собаку бы твою, а тебя Жуликом-то надо бы звать!.. Мишка, а ты чего молчишь? – повернулся вдруг он к Михаилу Сорокину. – Аль не знаешь, что никаких недоимок за мною сроду не остается?..

– Откуда мне знать? Я тут человек новый, недавно избранный вами председателем. Так что...

– А-а, черт с вами!.. А ты, хохленок, ищо пожалеешь, что сотворил со мною такое... – И, резко крутнувшись, Григорий Яковлевич почти выбежал на улицу. Там он задерживал каждого встречного и, жестикулируя, что-то рассказывал ему, указывая на сельсоветскую контору.

Думается, что отец пожалел о содеянном им гораздо раньше, чем мог предположить обиженный им мужик, потому что закуривал по ночам не два, а более пяти раз. Не знаю уж, терзался ли совестью или испытывал страх из-за вполне заслуженного им возмездия со стороны Жуковых. А может, все это вместе сделало длинные зимние ночи такими беспокойными, бессонными для нашего родителя? Он явно ожидал, что что-то должно было произойти неладное на нашем подворье. Хорошо, ежели эти Жуковы во второй раз переломают ноги Жулику, ну а если они покалечат Карюху перед самой посевной или отравят чем ни то Рыжонку, нашу корову-ведерницу, которая вот-вот должна отелиться? Чего доброго, Ванюшка Жуков может подбросить в наш колодезь дохлую кошку или еще какую-нибудь мерзость – что тогда? Ведь его, чертенка, не изловишь на месте преступления. И что толку, ежели и изловишь: родниковая вода все одно будет испорчена и колодезь придется чистить, а для этого срочно собирать помочь. И кого, кроме Григория Жукова, уговоришь опуститься на его дно, чтобы вычерпывать ил и другой разный хлам, да еще посередь зимы, когда на дворе лютая стужа? Один лишь Григорий Яковлевич согласился бы на такое дело, как это и случалось в прошлые годы. Но теперь-то он не то что в дом, но и ко двору своему на версту не подпустит, – такие-то «пирогы»!

Кольцо за кольцом подымался к потолку дымок от помигивающей во мраке самокрутки моего отца.

Молчаливая и темная, как глухая стена избы, стояла у нашего порога беда и только ждала подходящего момента, чтобы войти в самый дом. Кто приманил, кто накликал ее, черную, на нашу голову?

Никто не задавал себе этого вопроса и не пытался ответить на него. Жизнь в селе шла своим чередом.

Приближалась весна-красна. Для меня же это самое волнующее время года не наряжалось в свои яркие, радующие сердце цвета, как было во все прошлые весны. А причина все та же: рядом со мною не было Ваньки Жукова. Теперь бы мы с ним уже затеяли самую первую весеннюю игру – осторожно поснимали бы с крыш хлевов и сараев длиннющие, рубчатые, как бараньи рога, красноватые от старой соломы и все-таки хрустально-прозрачные сосульки, толстые у основания и заостренные книзу и этим напоминающие винтовочные штыки, – поснимали бы, отгрызли бы самые их кончики, полакомились, а потом уж начали, подобно мушкетерам, сражение на этих хрупких, ломающихся от легкого тычка в грудь шпагах. Победителем у нас считался тот, чья сосулька-шпага сохранится дольше и на ее долю придется последний удар. Раскорячив ноги, согнув их чуток в коленках и угрожающе урча, мы прыгали один возле другого, как лягушата, и делали выпад за выпадом, издавая ликующие вопли при удачливом тычке. Надобно было видеть Ваньку Жукова в такое мгновение, он действительно был весь «как божия гроза»; раскрасневшаяся рожица сияла, белые глаза полыхали, в них металась, сверкали молнии. Девятилетний воин что-то выкрикивал, победно размахивал над головой наполовину укороченной сосулькой, падал, поскользнувшись на ледовом крошеве, тут же вскакивал, ловко увертываясь от моих выпадов, и, счастливый, хохотал, когда видел, что я, промахнувшись, кубарем лечу на снег. В этих случаях Ванька ставил победную точку тем, что наступал на распластанное мое тело правой ногой и вопрошал: «Сдаешься?» «Сдаюсь, сдаюсь!» – отвечал я, и на этом игра в мушкетеров заканчивалась.

Несколькими днями позже, поутру, когда солнышко чуть-чуть оторвется от горизонта и начнет стремительно набирать высоту, облачая все под собой, впереди себя и над собой в ликующие золотые ризы, кто-то из нас первым услышит пение жаворонка. В ослепительной глубине небес не вдруг, не сразу отыщешь глазами крохотный серебристый, трепещущий поплавок самого певуна – этого извечного и долгожданного гонца весны. Обладавший слухом, который мы бы теперь назвали абсолютным, Ванька обычно раньше всех улавливал жавороночьи трели и по ним, как паучок по невидимым прозрачным нитям, добирался и до жаворонка. Обнаружив, орал во все горло: «Вон, вон! Вижу, вижу!» Мне же требовалось еще несколько минут, прежде чем я мог ухватить своими глазами звонкоголосое это существо и сопровождать его от края до края по пронзительно ясному, тщательно выстиранному и выутюженному кем-то полотну небес. Глаза при этом слезились, слезы не смаргивались, потому что ты боялся даже на короткий миг смежить веки: жаворонок мог ускользнуть от тебя, а потом попробуй-ка отыскать его вновь в синих глубинах поднебесья! Наглядевшись на жаворонка вдоволь и наслушавшись его, мы врывались либо в Ванькин, либо в мой дом и громко возглашали:

– Жаворонки прилетели!!!

– А не врете? Не рано ли им? – спрашивала с сомнением его или моя мать.

– Ей-богу, прилетели! – хором кричали мы. – Сами счас видали!

– Ну-ну. Надо затевать. Что с вами поделаешь! Вот беда: мучицы пшеничной ни пылинки. Придется из ржаной...

– Пускай хоть какие! – поощрительно говорили мы и вскакивали на печь, где дожидались, когда уже из горячего ее зева выпорхнут сотворенные мамиными руками «жаворонки». Они, конечно, не будут такими изящными, как те, что трепещут под небесами, но все-таки очень похожими на них – с растопыренными крылышками, с головкой, с хохолком над ней и даже двумя бусинками глаз, обозначенных янтарными пшеничными зернышками.

Оказавшись в наших руках, «жаворонки» скачут из ладони в ладонь, потому что они еще очень горячие и оттого нетерпеливые, и для остуды их приходилось перебрасывать из одной руки в другую. Затем мы выбегали во двор, взбирались на поветь и, повернувшись лицом к востоку, нараспев зывали:

Жаворонок, прилети,

Красну весну принеси!

Нам зима-то надоела;

Весь хлеб у нас поела.

Зима, зима, ступай за моря.

Там пышки пекут,

Киселя варят —

Зиму манят.

Кши, полетела!

С последними словами присказки мы выпускали своего «жаворонка» из рук, и он летел, но не вверх, как полагалось бы живому, а вниз, падал в утративший белизну ноздреватый снег, а то, будто назло играющим, плюхался прямо в дымящийся, свежееиспеченный коровий блин. Когда такое случалось у девчонок, они покрывали все остальные звуки громогласным ревом и замолкали лишь тогда, когда выскочившие на крик матери совали плаксам новую пышку, отдаленно напоминавшую весеннюю птицу.

Воспроизведенная здесь песня-присказка, сочиненная неизвестно кем и когда, слышалась во всех дворах, потому что это был праздник, для детей не менее радостный и светлый, чем Пасха и Первое мая, – я поставил их рядом потому, что и теперь еще во многих российских селениях они празднуются во всю мочь и с одинаковым эмоциональным зарядом, не говоря уже о двадцатых и тридцатых годах, когда новые (советские, как их именовали) праздники только еще укоренялись в деревенском быту, а старые, не особенно сопротивляясь новым, сохраняли, однако, свои «прерогативы», свою духовную власть над людьми. Со временем сметливый русский народ сообразит, что такое двоевластие разных по своим исходным точкам праздников ему, народу, только на пользу: праздных дней стало вдвое больше и времени предостаточно, чтобы отвести душу, то есть гульнуть как следует. Жаль лишь, что Жаворонков день уже не празднуется, а если и празднуется, то в редких местах. А ведь он очень созвучен поре, когда все умирающее зимой возвращается к жизни, а живое еще более оживляется, как бы обновляясь изнутри, наполняясь волнующими животворящими соками.

Жаворонок, прилети,

Красну весну принеси!

Наигравшись всласть испеченными из теста «жаворонками», мы потом всласть ими и лакомились, хотя едва ли они были такими уж лакомыми. Не то что пшеничной, но и ржаной муки было в обрез или не было вовсе, как, скажем, в доме Поляковых, которым, чтобы не лишать детей радости, приходилось выпрашивать «горсточку мучицы» у соседей – у Архиповых или (до нашей с Ванькой ссоры) у Жуковых, Ванькиных родственников.

Зима в самом деле успевала к этому времени чисто подмести сусеки в амбарах у большинства односельчан, исключая разве очень немногих, над которыми, однако, уже была занесена ежели и не «костлявая рука» голода, то не менее грозная десница тридцатого года, неотвратимо приближающегося по воле

действительно «неумолимого владыки», коим является неотвратимый ход истории.

Поедая ржаных «жаворонков», мы угощали друг друга: я позволял Ваньке отведать крылышка моей птички, он, в свою очередь, отламывал кусочек – «перышко» – от веерообразного хвостика своей. При этом все время вопрошали: «Ндравится?» И отвечали: «Очень, очень ндравится!» Матери украдкой поглядывали за нами и, видя, что нам было очень хорошо и весело, расцветали и сами в улыбках.

Жавороночья пора проходила, и на смену ей являлась не менее волнующая: со дня на день должны были прилететь скворцы. Эти озорные, веселые пересмешники-пародисты, объявившись, надолго останутся с нами, как бы в награду за то, что мы, люди, избавляем их от больших забот-хлопот по сооружению гнездовий, строим для них домики один краше и замысловатее, затейливее другого. Я, например, с ползимы начинал одолевать своего дедушку Михаилу, чтоб он, великолепный мастер строить скворечники, поскорее приступал к делу. Дедушка каждую весну обновлял скворчиные жилища, старые домики отправлялись либо на топку, либо на ящики для помидоров будущего урожая. На изготовление одного скворечника у старика уходило несколько дней и даже ночей, поскольку конструкция была весьма сложной: скворечник снабжался крылечком с железной крышей над ним, с какими-то изразцами по краям и еще чем-то, настолько уж хитроумным, что и не назовешь, что бы это было такое. При входе на крыльцо дед встраивал ограждение из тонкой проволоки: оно свободно впускало в дом его законного хозяина, то есть скворца, но не позволяло проникнуть туда пернатым хищникам – вороне или сороке, да и кошке тоже. Над крышей самого домика маячила красивая, вся в радующих глаз придумках маленькая кружевная труба, очень похожая на ту, что венчала избу отца Василия, нашего соседа, – в этом не было ничего удивительного, потому что поповская труба сооружалась тоже моим дедушкой. Правда, тогда помогал ему его средний сын, мой отец Николай Михайлович. Должно заметить, что по плотницкой части и папанька наш был большой спец. Я бы мог попросить и его, чтобы он построил скворечник. Но я не без основания опасался того, что папанька обязательно подведет: пообещает, а сделать не сделает, как с ним случалось довольно часто. К нашей и его беде, отец принадлежал к тому очень распространенному на святой Руси мужскому племени, которое чрезвычайно талантливо от природы, умеет делать почти все, но чрезвычайно и лениво, что мешает ему доводить начатое дело до конца, оставляет надолго или навсегда незавершенную работу на полпути. В разных местах у нас валялось и чего-то ждало множество отцовских заделок, а вернее бы сказать, недоделок. Под

полом, например, пересчитывая кроличье поголовье, я все время натыкался то на колесную ступицу, выточенную, с выдолбленными долотом ячейками для спиц, но давно позабытую там; то на новые грабли, которым недоставало лишь черенка; то на деревянные, тщательно отструганные и отфугованные заготовки для будущего бочонка или квашни; то еще бог знает на что, также напрочь забытое, хотя начиналось горячо и с великим усердием. На чердаке, куда я любил забираться, можно было увидеть тот самый черенок, без малого готовый, почему-то не соединенный с почти готовыми тоже граблями, что пылились под полом. Тут же, на чердаке, с незапамятных для меня времен покоились и все остальные части, которых недоставало ступице и спицам, чтобы стать колесом. Такая участь выпала бы и на долю скворечника, если бы за него взялся папанька. Потому-то я и канючил у деда:

- Деда Миша, скворцы прилетели.

- Правда? А не спутал ли ты, тезка, их с воробушками?

- Не, не спутал. Ванька сказывал. Он видал на Хуторе.

- Врунишка твой Ванька. Скворцы так рано не прилетают.

- Почему? - спрашивал я. - На улице-то тепло.

- А снег?

- Он скоро растает.

- Вот тогда и прилетят твои скворцы, Мишанька, - и дед раскрывал передо мной свою неписаную азбуку природы. - Прилети они сейчас - помрут от голоду. Скворцы чем питаются?

- Червяками.

- Правильно. А где живут червяки?

- В земле.

- И опять верно. А где она сейчас, земля?

- Под снегом.

- Под снегом, стало быть, и хоронятся червячки и разные букашки. Уберется снежок с полей, объявятся на огородах большие проталины, выползут погреться на солнышке малые Божьи твари – скворец тут как тут. Цап-царап их длинным свои клювом – и сыт, и нос в табаке...

- Разве скворцы табак клюют? – удивлялся я.

- Не клюют, конечно. Они не такие дураки, как твой отец или дядя Петруха. Просто поговорка есть такая: «Сыт, пьян и нос в табаке». Придумана она, Мишанька, для непутевых мужиков. Надеюсь, ты не будешь таким?

- Не буду, – заявлял я решительно, потому что успел в достаточной степени наглядеться на своего родителя, когда тот был и сыт, и пьян не в меру, и табачищем от него разило за версту, и когда он был не только противен внешне, но и опасен, потому что лез на всех с кулаками.

- И не надо, Мишанька, – удовлетворенно говорил дед и, успокоенный, возвращался к скворцам. – Дней через десять, не раньше, твои крикливые гости пожалуют. А к тому времени я тебе сколочу не один скворечник (в нашем селе это слово произносилось в мужском роде), а сразу два, и сам принесу к вам. Один поставим во дворе, а другой на улице, под окном, чтобы ты мог слушать песенника прямо из дому.

- Вот здорово! – восклицал я и, подпрыгнув, повисал на дедушкиной шее, обхватив ее своими тонкими, но крепенькими ручонками. Неловко тыкался в его бороду: мне хотелось расцеловать человека, который после моей матери был для меня, пожалуй, самым дорогим и близким.

С Ванькой Жуковым мы виделись теперь только в школе. Там Иван Павлович придумал для нас веселое занятие, которое было введено в школьную программу и называлось коротко и ясно: «труд». Уроки труда мы должны были получать в наскоро сооруженном помещении, нареченном, однако, солидно и внушительно: «мастерская». Внутри ее, почти во всю длину, поставлен верстак, вдоль стен – на лавках и полках – размещались буравчики разных размеров,

стамески, тоже разнокалиберные, рубанки и фуганки, молотки железные и деревянные, пилы поперечные и продольные, зубила и пробои, ящики с большими гвоздями и ящички с гвоздями малыми. Все это неслыханное по тем годам богатство Иван Павлович раздобыл в Саратове при содействии сына Виктора Ивановича, который был уже аспирантом университета и, готовя себя на смену отцу, обзавелся состоятельными шефами в лице двух директоров крупных предприятий. В течение всего минувшего лета и нынешней зимы к школе подкатывали таинственные для нас, учеников, возки, из них выносились картонные и деревянные ящики и тут же прятались в школьных кладовках. Одновременно возводилось и помещение, которому суждено было стать школьной мастерской. Открытие ее было торжественным.

Перед распахнутой настезь дверью Иван Павлович натянул красную ленту, сшитую из нескольких старых пионерских галстуков, и, когда вместе с моим отцом рассек ее большими ножницами, мы хлынули внутрь и, увидев там все, огласили необычный учебный класс восторженным криком.

Каждый на своем месте и по проектам, предоставленным нам на выбор учителем, принялся под наблюдением моего отца, согласившегося по совместительству стать преподавателем, мастерить скворечники. При этом я больше всего боялся того, как бы мое сооружение не оказалось хуже Ванькиного, а потому чаще, чем кто бы то ни было, обращался за консультацией к «преподавателю», демонстрируя, помимо всего прочего, свою близость к нему и возможность обращаться вот так, запросто. Важный до смешного, батяня мой изо всех сил старался показать, что тут, в классе, для него все равны, а сам нет-нет да и стукнет по моему творению своим молотком, и подпилит что-то там своей крохотной пилкой, еще что-то подладит и подправит, да так хитро и ловко, что никто этого и не заметит.

Как и следовало ожидать, преподавательская карьера отца оборвалась очень скоро и, как водится, в самом тонком и уязвимом месте. На третий, кажется, день занятий в мастерскую наведалься Иван Павлович. Он вошел так тихо, что поначалу никто его не заметил. Может быть, еще и потому, что все мы были увлечены до крайности интересной работой. Быстроющими своими глазами Кот сразу же за приметил, что движения рук старшего мастера что-то уж очень торопливы и размашисты, а взор повышенно оживлен и весел. Язык преподавателя был подозрительно боек и лишен необходимой стройности. Подойдя поближе и потянув носом, Иван Павлович обнаружил и первоисточник такого поведения папаньки: по вздрагивающим, пульсирующим от

напряженного принюхивания ноздрям Кота шибанул устойчивый, не выветрившийся дух матушки-сивухи. Дождавшись окончания урока, Иван Павлович пригласил неосторожного выпивоху в учительскую, где и вынес свой приговор, сформулированный кратко и предельно ясно:

- Чтобы духу вашего не было в моей школе!

Употребленное в этой формуле слово «дух» придало ей определенный, глубокий и весьма ядовитый подтекст. Моему отцу ничего не оставалось, кроме как покорно проглотить сию горькую пилюлю и в тот же день, прервав занятия, передать мастерскую Петру Ксенофоновичу Одинокovu, мужику умному и грамотному, к тому же трезвеннику. Плотницкое дело он знал даже лучше, чем мой отец, и удивительно, почему не на нем поначалу остановился пронцательный Иван Павлович. Правда, Петра Ксенофоновича не шибко любили в селе, но объяснялось это не его отрицательными качествами, а скорее наоборот - положительными. Дело в том, что Петр Ксенофонович был бессменным фининспектором и исполнял свои малоприятные обязанности в высшей степени добросовестно: не даст мужику покоя до тех пор, покуда тот не раскошелится и не погасит налога. Ценимый на вес золота в райфо, он был чрезвычайно неудобен для своих прижимистых односельчан, их в большей степени устраивал бы какой-нибудь грамотей-пьяница, которого можно было бы без особенных трудов умаслить лампадкой самогона.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Так в наших краях именуется жмых.

2

Плавкою у нас называли ржаную солому, обмолоченную цепами.

Купить: https://tellnovel.me/ru/alekseev_mihail/drachuny

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)